

НОВЫЙ ГРАД

под редакцией

И. Бунакова и Г. Федотова

10

ПАРИЖ

1935

BIBLIOTHÈQUE
GEOGRAPHI
S. 12. 1. 1. 1.

С о д е р ж а н и е :

От редакціи	3
Ф. Степун. Пореволюціонное сознание и задача эмигрантской литературы	12
Г. Федотов. Борьба за искусство	29
С. Савельев. Оторванные. (Писатели и читатели в странах диктатуры)	44
Н. Бердяев. О пророческой миссии слова и мысли. (К пониманию свободы)	56
К. Мочульский. Кризис означает суд	66
И. Херасков. О кризисъ демократіи	79

И д е и ж и з н ь

Б. Ижболдин. Крестьянская проблема в Средней Европѣ ...	92
П. Бицилли. На путях к новому граду	106
Мон. Марія (Скобцова). Православное дѣло	111
С. Бѣлозеров. Общее дѣло	116
И. Бушаков. Возвращаться ли нам в Россію?	128
Духовный фронт	132

К н и г и

П. Бицилли. G. Gurvitch, L'expérience juridique. — Г. Ф. В. Souvarine, Staline	139
--	-----

Послѣ годичнаго перерыва № 10 «Новаго Града» выходит с новым, расширенным содержанием. До сих пор наш журнал был посвящен преимущественно социальнo-политическому кризису стараго міра и схемам реконструкціи Града, как гражданскаго общества. Что за революціей общественнаго быта стоит глубокий переворот в духовном сознании, мы никогда не отрицали. Для нас всегда был ясен первичный, главенствующій характер духовной линии единаго процесса жизни. Если же мы до сих пор, в течение двух лѣтъ, отдавали свои силы почти исключительно социальным проблемам, то дѣлали это, во-первых, исходя из большей остроты и грандіозности их проявленій — время не терпит, — а во-вторых, из болѣе насущной потребности именно их разработки, порядочно запущенной русской религіозной мыслью. Эта мысль, безспорно, отличалась сильно выраженным социальным устремленіем; но в тоже время всегда удѣляла слишком мало вниманія конкретным вопросам социальной жизни, которые предоставлялись специалистам чуждаго духа и направленія.

Далекіе от мысли дать послѣдніе отвѣты или законченныя формулировки для самых жгучих социальных вопросов современности, мы однако во многом достигли той степени конкретности, которая единственно мыслима для оторванной от социальной почвы эмигрантской мысли. Дальнѣйшая конкретизация, необходимая на родинѣ, в условіях подлиннаго строительства, может оказаться бесплодной и претенціозной на чужбинѣ.

Не отрекаясь от разработки наших старых тем, мы обращаемся к новым, которыя оказываются очень старыми в традиціи русской мысли. Дѣйствительно, с тѣх самых пор, как эта мысль пролепетала свои первыя русскія слова, проблема духовнаго кризиса современнаго міра не перестает волновать ее. Ею мучились первые славянофилы и Герцен, и при всей упрощенности и даже грубости, с которой она встала перед основоположниками русскаго національнаго самосознанія, славянофилы оказались правы в своем диагнозѣ болѣзни. Они оши-

бались, думая, что это болѣзнь западнаго міра, что Россія может оказаться в сторонѣ от общей участи. Нѣтъ, драгоцѣнное и опасное наслѣдіе гуманизма, которое они сами несли в себѣ, как сыны созданной Петром интеллигенціи, требовало расплаты. Духовный распад Россіи оказался совершенно подобным, даже болѣе острым и ускоренным, чѣм «гниеніе» Запада. При всем своеобразіи русской, восточно-христіанской традиціи, Россія спаена неразрывно со всѣм христіанским человѣчеством. Падшая, как и все оно, Россія сейчас менѣе, чѣм когда-либо, может притязать на роль спасительницы. Думать, что коммунизм несет в себѣ спасеніе от фашизма (А. Жид), столь же наивно, как видѣть в фашизмѣ спасеніе от коммунизма (русская эмиграція). Коммунизм есть русская разновидность той же болѣзни, какую Запад переживает в формѣ фашизма. Отличія коммунизма достаточно объясняются прошлым Россіи: слабостью буржуазнаго воспитанія, кенотическим аспектом русскаго христіанства и т. п.

Отказываясь видѣть в новых формах общества и сознанія подлинное разрѣшеніе духовнаго кризиса, мы усматриваем в них скорѣе послѣднюю стадію той же болѣзни дезинтеграціи духа. В нашу эпоху механизация жизни выражается в двух полярных явленіях: в атомизмѣ «буржуазной» личности и в коллективистическом подавленіи ея. Еще для славянофилов и Достоевскаго (которым коллективизм представлялся в двойном обликѣ католицизма и социализма) было ясно, что здѣсь мы имѣем дѣло с положительным и отрицательным полюсами того же явления: нарушенія гармоническаго, «соборнаго» строя отношеній между личностью и обществом. «Новый Град» принимает полностью это завѣщаніе славянофилов, которое, в концѣ концов, совпадает с человѣческой транскрипціей христіанства. Не надо лишь заблуждаться насчет мнимо-спасительнаго значенія «формул». Нѣтъ ничего легче, как начертать схему идеальных соотношеній личности и общества, ускоренных в Богѣ, нѣтъ ничего труднѣе реализовать их. Само христіанство, жизненно, постоянно раздваивается между утвержденіями личнаго и социальнаго начала. В самом православіи живут обѣ тенденціи. Великій дар «практики», во всем философском смыслѣ этого сло-

ва, — будь то этика, политика, искусство, святость — в жизненном воплощеніи идеи. Малѣйшій намек на реализацию, простой эскиз, конкретное видѣніе, жизненный акт — цѣннѣе стройных систем, округленных теорій. Наше время изголодалось по искренности. Скольженіе над пропастями, переброска воздушных мостов справедливо раздражает. Все «гладкое» начинает казаться лживым. Не в этом ли чрезмѣрном схематизмѣ и преждевременной округленности русскаго идеализма объясненіе бунта Маяковскаго и всего хаоса разнузданной вмѣстѣ с ним звѣриной правды?

Не будучи «практиками» в прямом смыслѣ слова, новгородцы хотят стать «слѣдопытами» новых дорог. Не пионеры, а топографы новой земли, критики в подлинном смыслѣ слова: оцѣнщиков, измѣрителей глубин, лоцманов опасных переходов — такую мы представляем себѣ, без ложной скромности, свою роль — Линкея на кораблѣ аргонавтов.

**

Никогда еще, со времени перемирія 1918 г., человѣчество не подходило так близко к новой мировой войнѣ, как в эти дни. На этот раз угроза встала не с той стороны, с которой ее ждали: не Германия, а Италия обнажила меч. Мѣстная колониальная война, в отличіе от японскаго завоеванія Китая, грозит превратиться во всемірный пожар благодаря тому, что Италия наступила на невралгическій пункт Англии: на ея пути к Индіи. Было бы лицемѣріем отрицать наличность скрытых империалистических мотивов в политикѣ Англии, но было бы цинизмом не вѣрить ея политической искренности. Для всякаго наблюдателя англійской жизни несомнѣнно, что в глазах рабочих масс Англии, ея интеллигенціи, ея церкви не государственный эгоизм, а идея поправаго права волнуется, будит негодованіе, толкает к требованію санкций. Здѣсь мы имѣем столь обычный случай совпаденія эгоистических и безкорыстных мотивов, которое необходимо для всякаго большаго національнаго движенія. Чтобы справедливо оцѣнить поведеніе Англии, нам, русским, достаточно вспомнить нашу балканскую политику, гдѣ совер-

шенно чистое и благородное сочувствие угнетенным братьям-славянам текло по руслу традиционной государственной экспансии. В мирѣ повсюду совершались и совершаются насилия; можно сочувствовать бурам, полякам, индусам... Но общенародная волна, для единства своего направлення, требует, хотя бы бессознательно, опоры в коллективном интересѣ.

Вот почему и создание международного принудительного права, Лиги Наций, не может опираться на чисто идеальные нормы. Как в источникъ всякаго государственнаго образования лежит совпадение силы и права, при чем исторія государств есть исторія этизирования созданных силой отношений, так слѣдует представлять себѣ и взаимный рост сверх-государственного права. «Лига Наций» в Женевѣ была созданием группы держав-побѣдителей. В этом была не ея слабость, а ея сила. Версальская коалиція могла стать европейской, и — в предѣлѣ — всемирной — лишь в процессѣ расширения своего руководящаго ядра и этизации своего права, первоначально узко охранительнаго. Status quo должен был расширяться в status, приемлемый для побѣжденных, для всѣх участников международного общенія. Если этого не случилось, если Лига шла от поражения к поражению, виной тому нерасчетливый эгоизм побѣдителей и, главное, основной раскол в их лагерьѣ, проходящій между Англійей и Франціей с ея союзниками. Этот раскол сорвал дѣло разоруженій и привел к вооружению Германіи, а за ней и всего міра. Этот эгоизм в дѣлежѣ германскаго наслѣдства привел к обидѣ Италіи — основной ранѣ ея истерического имперіализма.

Обдѣленная Италія протестует. Та доза справедливости, которая заключена в ея домогательствах (справедливость разбойничьяго стана), испорчена в конец цинизмом ея принципов. Фашистское государство принципиально отрицает право — внутри и во внѣ, и не может понять, почему его апелляция к голой силѣ не встрѣчает всеобщаго сочувствія. Муссолини, драпируясь в римскую тогу, основательно забыл своего Цезаря, если когда-нибудь знал его. Забыл о том, что каждый шаг римской экспансии был прикрыт защитой международного пра-

ва. Но, забыв исторію, Муссолини забыл и нѣкоторые основные факты современной политики.

Эра колониальной экспансии Европы уже закончилась; начинается отлив, наступление цвѣтных рас. Италія опоздала к раздѣлу міра. Нынѣ колоніи перестают быть рынками для европейскаго капитала, и цвѣтные народы — объектом эксплуатаціи. Что сулит Италіи завоевание Эѳіопіи? Огромныя жертвы, и в результатѣ — полу-цивилизованная страна, обученная и вооруженная своими господами, и готовая в один прекрасный день сбросить их в море. Горе, если національная революція эѳіопов совпадет с возстаніем всей арабской и черной Африки против Европы. Муссолини совершает акт, преступный с точки зрѣнія блага челоувѣчества. Уже сейчас ему удастся вызвать впервые в мирѣ общій цвѣтной фронт — от Японіи до негров. В эпоху упадка и междоусобія, в которую вступила Европа (а от Европы ни Италія, ни Германія не отдѣлимы), безразсудство Италіи означает измѣну европейской (римской!) нации, о которой у нас своевременно напомнил В. В. Вейдле.

Занимая таким образом рѣшительную анти-итальянскую позицію в текущем спорѣ, мы отнюдь не горим, подобно лѣвым группам Франціи и Англии, жаждой священной войны. В этом отношеніи: урок 1914 года не должен пройти даром. В настоящее время война не только не может быть оружіем національной политики, как заявлял пакт Келлога, но не может вообще быть орудіем политики. Ея послѣдствія непредвидимы; ея разрушенія далеко превосходят всѣ возможные результаты. Различіе между побѣдителями и побѣжденными теряет всякое значеніе. Война есть просто взрыв культуры. До каких предѣлов докатится Европа послѣ новой войны? Быть может, современная Абиссинія покажется для нея идеалом права и свободы. Поэтому мы привѣтствуем всѣ формы международного давленія — кромѣ войны. Наилучшим исходом была бы, конечно, собственная Немизида Италіи: пески Абиссиніи, подобно снѣгам Россіи, могли бы похоронить еще одну диктатуру. Итальянскій народ, цѣною отрезвленія от «римскаго» угара, мог бы вернуться к своей подлинной великой традиціи: христіанства и

гуманизма. Данте, а не Цезарь стоит у колыбели его национального бытия.

Есть внутреннее сродство между военной опасностью и психологией фашистских народов. Фашизм — это армия, ставшая государством и нуждающаяся в войне для оправдания своего существования. Социальный туман, окутывавший рождение новых диктатур, уже разсвивается. Социальные идеи были хороши, когда нужно было бить коммунизм, ломать буржуазную демократию. Порядок, за счет свободы, был обещан для завоевания хлеба. Это обещание осталось невыполненным. Выяснилось, что фашистское государство не спасает народ от экономического кризиса; что огромную власть, которую собрало государство, оно не может употребить на построение нового общества. Не может, ибо само связано с капитализмом — больше постыдно, чем поносимый им либерализм. Одна опека над индустрией, одна регуляция при неприкосновенности прибыли, при связи распределения со скудной заработной платой, очевидно, бессильны преодолеть капитализм. Вот почему, по отзывам многих наблюдателей, в Германии и Италии начинается известное разочарование в новом режиме. В Германии хозяйственные затруднения принимают уже тяжелые формы. И фашизм должен двигать свои полки, собранные для штурма капитализма, по линиям наименьшего сопротивления — против эфиопов или евреев. Но ни эфиопской кровью, ни еврейским унижением не накормить голодных и не насытить проснувшегося чувства социальной справедливости. Изнашивание диктатур — один из отрядных проблесков сегодняшнего дня.

К сожалению, кризис фашизма не искупается работой и волей демократии. За истекший год мы можем занести в наш актив лишь начало бельгийского опыта, где молодежь всех партий объединилась для экономической реформы. В Америке Рузвельт продолжает свою борьбу, при возрастающих трудностях и при оппозиции справа и слева. Хватит ли у него сил и решимости вывести из хаоса величайшую демократию мира? Если да, Америка станет новым — подлинно «третьим» — фокусом мировой кристаллизации. Если нет, — скажем себе: задача социальной реконструкции рассчитана на столетие.

К сожалению, несомненный хозяйственный подъем Англии связан — хотя бы отчасти — с ростом военной промышленности. И Франция продолжает биться в право-левой лихорадке; фетиши столетних знамен замняют для нее реальные программы действий. До сих пор, при несомненной победе идеи управляемого хозяйства (Лаваль нормирует цены!), государство не выходит из мелкой штопки в конце износившегося строя, а терзающая его партия — и слева и справа и из «пореволюционного» центра в своей программе не идут дальше лозунгов. Франция все еще ждет своего Рузвельта, который один может спасти ее от бесплодной гражданской войны.

*
**

Человеческому сердцу свойственно искать «отрядных явлений», и от стеснившихся над Европой туч хочется отдохнуть на востках, доходящих с нашей родины. В «отрядных явлениях» нет недостатка. Каждый день приносит известие о новой реформе, о новой победе здравого смысла над остатками коммунистической доктрины. Дисциплина в школе, чины в армии, выдвижение по службе, а не по партийному стажу. Каждый день овца за овцой выводятся из избы башкира, по известному анекдоту, и обитателям избы, вероятно, кажется, что они дышат чистым воздухом. Впрочем, важно отметить: до сих пор реакция не коснулась основ созданного революцией хозяйственного строя. Государственный капитализм и коллективистическое земледелие остаются нетронутыми. В экономической области Сталин, подобно Лавалю, ограничивается мелкой штопкой. Отмена карточек, колхозный рынок — как не раз в прошлом, государство дает передышку голода, прикрывает рубище нищеты, в котором живет страна, не открывая действительных перспектив зажиточности. Есть даже класс населения, положение которого явно ухудшается: это класс, именем которого все еще правит диктатор, несчастный, обманутый, русский пролетариат.

Если государственный капитализм остается неприкосновенным, в чем же социальный смысл нового Сталинского курса?

Прежде всего в перемены социальной базы, на которую опирается власть. Не пролетариат, не партия, не молодежь — как еще недавно — но «знатные» люди, удачники, сдѣлавшие карьеру, поднятые вверх народной волной. Поскольку государство в России — все, все «знатные» люди — служилые, хотя назвать их бюрократией было бы противно духу этого слова. Несомненно, что в России пробилась наверх люди инициативы, воли, талантов, биологическая ценность которых уравнивается лишь их безсовестностью. Они строят Сталинскую Россию, не имѣющую ничего общего с коммунизмом. На неравенствѣ, на отборѣ сильных, на строгой социальной иерархии, на чувствѣ государственного патриотизма, на культѣ армии. Если бы русское царство вызывало в нас сочувственные воспоминанія, мы могли бы привѣтствовать безоговорочно черезчур знакомыя черты в национал-социалистическом государствѣ СССР. Основные формы его структуры — служба и тягло — уводят нас в глубину допетровских столѣтій. И, как в старой Москвѣ, в отличіе от авторитарных демократій Запада, разстояніе между тяглом и службой все углубляется. По-прежнему иерархія крѣпостного государства давит непомерной тяжестью на угнетенную массу народа. Интеллигенція сплотилась вокруг трона во имя технической революціи сверху, смысл которой — индустриализація России. Последняя черта, сообщающая всему общественному типу СССР столь динамическій характер, ведет нас прямо в XVIII вѣк. Лишь там мы найдем столь характерное для современности сочетаніе: оды Фелицѣ и посланія о «пользѣ стекла».

Одно остается для нас неясным из зарубежной дали, и это неясное — самое волнующее и важное: это прочность новаго «термидоріанскаго» строя. Как относятся к власти, как переносят ее или борются с ней тѣ классы, на хребтѣ которых покоится ея пирамида? Угрожает ли Сталину новая революція рабочих и крестьян? Или, точнѣе: угрожает ли России новое поражение народных масс при первом вооруженном столкновеніи? Мы этого не знаем. Мы видим только, что диктатура готова итти на все, что вчера было символом контр-революціи, кро-

мѣ одного: отказа от террора. По-прежнему поѣзда увозят в ссылку безчисленных узников, по-прежнему разстрѣливают мелких преступников. Время от времени массовыя облавы вырывают из столиц — и из жизни — то лѣвых, то правых, дѣйствительных или мнимых врагов власти: троцкистов — студентов или бывших дворян. Если эта свирѣпость, столь не идущая к стилю современной контр-революціонной государственной пропаганды, обоснована в реальных, нам невѣдомых опасностях, тогда это значит: новая пирамида угрожает обвалом, и преждевременно дѣлать ставку на стабилизацию революціи. Но, может быть, это просто привычная реакція деспотизма, уже бессмысленная и ничѣм не оправданная.

Не будучи ни троцкистами, ни смѣловѣховцами мы не имѣем оснований ни для отчаянія ни для восторгов в оцѣнкѣ нынѣшняго дня России. Для нас, сторонников «персоналистическаго социализма», непріемлемы самыя основы новой социалистической деспотіи. Несмотря на диопирамбы совѣтской интеллигенціи, мы не можем присоединить свой голос к хору

ликующих, праздно болтающих,
обагряющих руки в крови.

Но мы признаем огромный шаг вперед, продѣланный со времени военнаго коммунизма и даже послѣдняго года пятилѣтки (1933). Признаем торжество здраваго смысла, воскрешеніе нѣкоторых вѣчных, элементарных начал обще-человѣческой культуры... Признаем и творческой подъем техническаго русскаго гения, огромную работу, совершающуюся в России во всѣх сферах научно-техническаго строительства. Ни духовный ни политическій облик новой России еще не установился. Нам остается пристально вглядываться в туманныя черты России, слушать противорѣчивыя голоса, доходящіе оттуда, осмысливать их — и накоплять внутреннюю собранность, всегда готовую разрѣшиться в дѣйствіе.

Пореволюціонное сознание и задача эмигрантской литературы

1. Пореволюціонное сознание — сознание цѣлостное. Как таковое, оно не может не предъявлять к литературѣ вполне определенных требований.

2. Цѣлостность пореволюціоннаго сознания «качествует» в настоящее время прежде всего в политической формѣ. Пореволюціонное сознание не может потому не связывать политики и литературы.

3. Пореволюціонное сознание эмиграции — сознание противобольшевицкое. Из этого слѣдует, что оно не может не ожидать от эмигрантской литературы дѣйственной помощи в своей борьбѣ против большевиков.

Не обольщаюсь; — знаю, что наиболее даровитым эмигрантским поэтам и писателям, наиболее тонким эмигрантским критикам и наиболее культурным эмигрантским читателям мои пункты не по душѣ. Ого всѣх этих: — во-первых, во-вторых, в-третьих, им становится скучно, тошно, как Кутузову от стратегических предначертаний австрийскаго генеральнаго штаба; «die erste Kolonne marschieret, die zweite Kolonne marschieret, и т. д.». Знаю и то, как губительно для моих пунктов то обстоятельство, что всѣ они, на первый взгляд по крайней мѣрѣ, с легкостью укладываются в рамки большевицкой идеологии. Цѣлостное коммунистическое сознание догматически связывает литературу с политикой и в порядкѣ социальнаго заказа твердо ставит совѣтских писателей перед задачей идейной борьбы с мировой буржуазіей. Нѣчто, с формальной стороны по крайней мѣрѣ, вполне аналогичное происходит сейчас в Германіи. И в ней «идейная» литература через тысячи государственных шлюзов неистово льется на колеса общественно-политических мельниц. Свободное «искусство ради искусства»

считается величайшим позором: — «вечерним асфальтом», по которому вертляво простукивают фланирующие каблучки семитических фрейдянок и фрейдянцева. Идет упорная и жестокая борьба за «музыку чистой крови», за «шелест дубрав» и «народныя пѣсни». В ослабленном видѣ аналогичныя явления наблюдаются в Италіи. В ближайшее время будут, по всей вѣроятности, наблюдаться и в других странах. Идеократія, как форма фашистской государственности, еще далеко не закончила своего побѣдоноснаго наступленія на европейское человечество. Духовная свобода, и в частности свобода искусства, сейчас всюду под угрозой.

Но, если таково положеніе вещей, то как же можно призывать эмиграцію, самую судьбою поставленную на стражѣ духовной свободы творчества, к политизации искусства. ради борьбы с большевиками? Не варварство ли такой призыв, не большевизм ли наизнанку, не полное ли непониманіе сущности искусства и культурно-политической задачи эмиграции?

Твердый отрицательный отвѣтъ на всѣ эти вопросы возможен только на путях отчетливаго осознанія того факта, что в мірѣ идей нѣтъ большей противоположности, чѣм противоположность религиозно-цѣлостнаго сознания, к которому устремлены новоградцы, и тѣх высочайше-утвержденных идеологических синтезов сектантски-партийнаго происхожденія, что лежат как в основѣ большевицкой государственности, так и всѣх иных форм фашизма. Цѣлостное міросозерцаніе, к которому устремлено новоградство, представляет собою религиозную апологию свободы. Идеологическіе синтезы всѣх форм политических идеократій как раз обратное: — максимум богоборческаго отрицанія свободы духа и свободы творчества. Наш новоградскій призыв к «политизации искусства» не может потому означать слѣпой к пройденному русским символизмом пути защиты граждански-соціологической беллетристики, курско-соловьиной лирики и — еще того хуже — лихой конно-патріотической агитмакулатуры. Все это, в сущности, само собою очевидно, и обо всем этом и говорить бы не стоило, если бы не велись в эмиграции все еще споры об отношеніи искусства к цѣлостно-

му міросозерцанію, к политическому дѣланію и если бы «Новому Граду» не приходилось подчас выслушивать весьма рѣзкія отвѣды не только от утонченных критиков, но и от подлинно даровитых поэтов.

В чем же корень недоразумѣній? Что мы защищаем и что проповѣдуем? Защищаем самую очевидную истину: никакого большого и подлинного искусства, не связанного с цѣлостным міросозерцаніем и соціально-политическим дѣланіем своей эпохи и своего народа никогда и нигдѣ не существовало. Софокл — глубоко религіозный и политическій мыслитель, типичный представитель золотого вѣка Перикловых Аѳин и избранный народом (послѣ представлення Антигоны) стратег-полководец. Данте — богослов, политик, посол и эмигрант. Гете — философ, оригинальный и глубокомысленный естествоиспытатель и министр своего герцога. Достоевскій — богослов и философ, все творчество котораго — сплошная мука над разрѣшеніем соціально-политических вопросов. Не в меньшей степени, чѣм Достоевскій, и Толстой — типичный представитель цѣлостнаго міросозерцанія, «связывающаго Христа с аграрной программой» (Адамович). Продолжая перечислять примѣры, можно было бы без большого труда и без всякой натяжки прійти к обобщающему заключенію, что величайшее искусство у всѣх народов всегда было не только художественным образом, но и религіозным символом, не только формой міровоззрѣнія, но и рычагом міроустроения. Кузеновская теорія чистаго искусства (*l'art pour l'art*) не опровергает этого положенія, ибо сама является ничѣм иным, как характерным выраженіем и проведеніем в жизнь просвѣщенчески-индивидуалистическаго міровоззрѣнія 18-го и 19-го вѣков. То обстоятельство, что это міровоззрѣніе и стоящее за ним міроощущеніе утверждают мір не как религіозную цѣлостность, а как аналитическую розсыпь челоуѣческих особей и как механически расчлененный фронт независимых друг от друга культурных областей, существа дѣла не мѣняет. Теорія и практика «искусства для искусства» так же связаны с цѣлостным міросозерцаніем своей эпохи, — с политическим либерализмом, с капитализмом, манчестерством и философским «панметодоло-

гизмом» — как Данте с томизмом и Достоевскій с православіем. Вся разница (очень большая, но для нас в данную минуту не важная) заключается только в том, что цѣлостное міросозерцаніе Данте утверждает цѣлостность, а цѣлостное міросозерцаніе Кузена, Теофиля Готье и их послѣдователей цѣлостно утверждает «анатомизм жизни» и «раціонализм мысли», как любили выражаться наши славянофилы.

Можно по разному относиться к философіи исторіи Освальда Шпенглера, но созданная им «физиономика» не оспорима. Мало-мальски углубленное занятіе какою-нибудь эпохой, убѣждает, что у каждой эпохи, дѣйствительно, есть своя «душа», по разному, но все же и одинаково трепещущая во всѣх ея проявленіях. В искусствѣ только то вызрѣвает и удерживается на всѣ времена, что растет из глубины этой эпохальной души, а потому и во внутренней связи с сосѣдними областями культуры. Все же своезаконно в себѣ замкнутое, своевольное и отщепенческое неминуемо гибнет на обочинѣ великаго пути исторіи. Для убѣдительнаго раскрытія этой мысли было бы очень полезно провѣрить ее в широком европейском масштабѣ. К сожалѣнію, продѣлать такую работу в журнальной статьѣ совершенно невозможно. В качествѣ особо убѣдительнаго и близкаго нам примѣра напомнимо потому лишь столь шумную «в началѣ вѣка» борьбу писателей «знаньевцев» с пестрою ватагою модернистов (беру сознательно это слово, как самое нейтральное и всеохватывающее). Не только рядовым завсегдатаям тогдашних литературных диспутов, но и профессиональным литературным критикам смысл этой борьбы представлялся, во-первых, — наступленіем «чистаго искусства» на гражданскій паѳос литературнаго служенія, во-вторых — наступленіем авторскаго индивидуализма на прочную традицію и, в-третьих — наступленіем иностраннаго мудрствованія (Ибсен, Ницше, Малларь, Верхарн, Вер. эн, Боллэр, и т. д.) на почвенное русское писательство. Но вот прошло четверть вѣка, и стало неоспоримо ясно, что сущностью модернизма, и прежде всего русскаго символизма, было все, что угодно, но только не разрыв искусства с принципом цѣлостнаго міросозерцанія и общественаго служенія.

Все, что в модернизмъ было индивидуалистически-профессионального и, в смыслъ русской традиціи, неорганическаго, давно уже сходит и завтра окончательно сойдет на нѣтъ. От самовлюбленнаго Бальмонта останется небольшой том своеобразныхъ стихотвореній. Вся-же бальмонтовщина, цѣликом укладываемая в двѣ строчки Городецкаго:

«Звоны, стоны, перезвоны,
Звоны стоны, звоны сны...

сгинет так же безслѣдно, как и безславно. Далеко не так много, как еще недавно, казалось, останется и от самонадѣяннаго Брюсова с его эротически-демоническимъ сатанизмомъ:

«Мы безконечно одиноки
«На днѣ своей души-тюрьмы...

Распадется на версификатора и агитатора, на талантливѣйшаго новатора русскаго стихосложенія и на черносотеннаго громилу большевизма псевдо-органическаго глыба Маяковскаго, дѣйствительно интересная лишь как предметъ приват-доцентскаго (Блок), — лингвистическаго, формально-эстетическаго и социологическаго изученія. Но если таковъ закатъ самыхъ крупныхъ людей индивидуалистически-отщепенческаго модернизма, то что же говорить о всѣхъ тѣхъ «кофтахъ — цвѣтъ ганго» (Бурлюки, Шершеневичи, Мариенгофы), которыми, не безъ удали и не безъ таланта, «творился шумъ изъ ничего». Явно, что говорить обо всемъ этомъ нечего и не стоитъ, ибо на самомъ дѣлѣ происходила вовсе не борьба между писателями-общественниками и провозгласителями чистаго искусства, во славу самодовлѣющей личности автора-творца, а нѣчто совсѣмъ иное: замѣна позитивистически-либеральнаго и материалистически-соціалистическаго міросозерцанія, верховодившаго в то время в Россіи зарождавшимися и быстро распространявшимися идеями «новаго религіознаго сознанія».

Подготовленныя всѣмъ девятнадцатымъ вѣкомъ: ранними славнофилами и народовольцами, социализмомъ и православіемъ Достоевскаго, Соловьевымъ — онѣ внезапно «принялись цвѣсти» в религіозно-философскихъ обществахъ Москвы и Петербурга, в

Московскомъ Психологическомъ Обществѣ, в социал-демократической партіи, изъ которой вышли самые крупныя русскіе религіозные мыслители — Булгаковъ, Бердяевъ и Франкъ, среди редакторовъ и сотрудниковъ журнала «Логосъ», подходившихъ къ новому религіозному сознанію не со стороны марксизма, а со стороны нѣмецкаго идеализма (Гегель, Шеллингъ), а также и среди молодого поколѣнія священниковъ, прорывавшихся сквозь трафаретъ синодально-монархическаго православія къ живой постановкѣ вопросовъ религіозной общественности.

Вотъ в нѣсколькихъ словахъ та атмосфера, среди которой зарождается, крѣпнетъ и в извѣстномъ смыслѣ играетъ главную роль русскій символизмъ. Косвеннымъ свидѣтельствомъ его духовной связи с новой, русскою, религіозною философіей является то обстоятельство, что онъ такъ же, как и она, зарождается во всеохватывающемъ творествѣ Вл. Соловьева, этого яркаго проповѣдника цѣлостнаго сознанія и религіозно-общественнаго строительства. Ведущіе русскіе философы начала вѣка и самые значительныя русскіе поэты-символисты: Вячеславъ Ивановъ, Блокъ, Бѣлый — явно молочные братья, шедшіе одною и тою же столбовою дорогою русскаго духовнаго творчества. На эту же дорогу выходили наиболѣе талантливыя представители «знаніевскаго» политизирующаго натурализма, на ея обочинѣ гибли чистыя эстеты-антиобщественники. Философы: Булгаковъ, Бердяевъ, Мережковский, Эрнъ, Франкъ; — поэты-символисты — Блокъ, Бѣлый, Вяч. Ивановъ, Зинаида Гиппиусъ, Ф. Соллогубъ; — писатели-реалисты — Чеховъ, Бунинъ, А. Ремизовъ, Б. Зайцевъ — все это представляетъ собою, несмотря на всѣ различія именъ и лицъ, какъ бы единую звѣздную плеяду, восходившую надъ новою, сорванною большевизмомъ марксизмомъ русскою культурою. Внѣ этого заново слагавшагося сознательно цѣлостнаго міропониманія, общественно очень живого и притомъ опредѣленно лѣваго, оставалось только старо-соціалистическое, натуралистическое творчество Горькаго и эстетически-демоническій иллюзионизмъ Валерія Брюсова. Характерно то, что наиболѣе значительныя «достиженія» совѣтской литературы, пробивающіяся сквозь наносную толщину марксистской идеологіи, явно несутъ на себѣ отсвѣты этого зарождавшагося в началѣ вѣка новаго со-

знанія. Сильнѣ всего это видно на Леоновѣ, который весь от Достоевскаго, на Есенинѣ, пришедшем в русскую литературу по пути Блока и Клюева, на Пастернакѣ, Асфевѣ, внутренне связанных с Бѣлым и на многих других. Детальный анализ совѣтской литературы (я исключаю из этого понятія агит-макулатуру, репортаж и всякую халтуру) безусловно привел бы к положенію, что ея главные источники в Гоголѣ, Достоевском, Ремизовѣ, Бѣлом и Блокѣ. Горькій, несмотря на свой большой талант, исключительную «своевременность» своего міросозерцанія и на находящійся в его руках громадный общественно-педагогическій аппарат воздѣйствія на молодых писателей, родил одного Гладкова, а Брюсов, с его исторіософской риторикой, верхарновской социологіей и вампирической эротикой и вообще никого.

Лучшаго доказательства органической связи литературы с глубинами «души эпохи», с ея ведущей міросозерцательной темой не найдешь.

Вот о такой зависимости только и думает «Новый Град», выдвигая тезис связи литературы и политики и высказывая ожиданіе, что эмигрантская литература окажется сильным орудіем пореволюціоннаго сознанія в борьбѣ с духом большевизма. (Классическим примѣром способности литературы на такую роль может служить польская эмигрантская литература во главѣ с Мицкевичем). Причем важно понять, что эта связь и эта борьба нужны не только политикѣ, но и самой литературѣ. Литературѣ, быть может, даже больше, чѣм политикѣ, ибо вопрос о том, сможет ли эмиграція что-либо реально сдѣлать для сверженія большевизма — по крайней мѣрѣ спорен, то-же, что эмигрантской литературѣ рѣшительно нечѣм духовно жить, кромѣ как процессом творческаго преодоленія большевизма — безспорно. Всмотриваясь в то, что происходит в эмигрантской литературѣ (я исключаю из моего разсмотрѣнія творчество всѣх писателей, выброшенных в Европу уже вполнѣ сложившимися людьми и художниками), ясно видишь двѣ подстерегающія молодую литературу опасности. Первая опасность — опасность чрезмѣрнаго увлеченія воспоминаніями; вторая — предательство вѣчной памяти о Россіи.

Разницу памяти и воспоминаній, о которой я уже не раз писал, я считаю верховным догматом всякаго эмигрантскаго міросозерцанія. Раскрывать исторіософскій и культурно-политическій смысл этого догмата я сейчас не могу и не буду. Скажу только вкратцѣ, что воспоминанія всегда направлены на свое и прошлое. Они корыстны и реакціонны. Их порочность в неискоренимой склонности связывать вѣчность всякаго явленія с его постоянно отмирающей формой. В отличіе от них память всегда направлена на всеобщее и вѣчное. Она безкорыстна и пророчественна. Ея благодатный дар в ощущеніи прошлаго, настоящаго и будущаго, как гриликой, но единой вѣчности. Воспоминанія мало помнит о прошлом. Они хотят им жить и этим желаніем отрѣзывают себѣ пути к настоящему и будущему. Память же о прошлом хочет лишь помнить. Не собираясь его воскрешать, она легко и свободно связывает его вѣчность с вѣчностью настоящаго и будущаго. Воспоминанія — лирической тлѣн; память — онтологическая нетлѣнность.

Порабощеніе узким кругом своих личных воспоминаній о своем углѣ своей Россіи должно потому всякаго молодого писателя неизбѣжно вести вспять: к замедленію духовнаго роста и сниженію художественнаго творчества. Написал раз о своем Дитпрѣ, о Царском Селѣ, о каткѣ с музыкой или о какой-нибудь иной своей лирической березкѣ, ну, а дальше что? Круг воспоминаній у всякаго молодого писателя мал; жить воспоминаніями молодости неестественно; жить же воспоминаніями об умершем и совѣм нельзя. Такая жизнь смерти подобна. С чисто художественной стороны литературу воспоминаній подстерегает к тому же смертная опасность эстетическаго эпитонства, слабago подражанія видным писателям прошлой эпохи, но без их чутья к своезаконію и беззаконію русскаго языка, без их органической связи с бытовою толщею Россіи, без их чувственнаго ощущенія ея запахов, красок, воздухов, влажностей, всей ея біологической, плотяной единственности. Родись в эмиграціи, или эмигрируй в Париж лѣтъ 20 от роду талант не только равный Зайцеву, Шмелеву или Бунину, но даже и болѣе крупный, он на путях Зайцева, Шмелева и Бунина ничего не сдѣлает. Погибнет от отсутствія матеріала и от отсутствія живой и ху-

дожественно отзывчивой аудитории. Зайцевых, Шмелевых, Буниных и нас всех, росших и зрѣвших вмѣстѣ с ними, он художественно не взволнует, только эгоистически обрадует своим сходством с ними и с нами. Патриотическую молодежь общевойскаго союза и других національных организаций он, конечно, задѣнет за живое, но скорѣе как пограничный полосатый столб, или как граммофонное «Занесло тебя снѣгом, Россія», чѣм как живой, человѣческій голос. Молодой-же эмиграции, выросшей в Парижѣ, Берлинѣ, Прагѣ, Харбинѣ, а также и совѣтскому челоѣку одних с ним лѣтъ, т.е. всей двухбережной, новой Россіи такой подбунинец или подшмелевец ничего не скажет и ничего не даст; литература вѣдь не соловьиная трель на вечерней зарѣ, а отвѣтственное служеніе и умное дѣланіе: духовное домостроительство національной и общечеловѣческой культуры.

Из всех эмигрантских журналов парижскія «Числа» должны быть безоговорочно признаны не только за самый живой и талантливый, но и за единственный дѣйствительно близкій молодым эмигрантским писателям литературный орган. С этой точки зрѣнія редакторскія заботы и критическія оцѣнки «Чисел» представляют собою очень большой интерес, в особенности в связи с тѣми двумя угрозами молодому эмигрантскому писательству, о которых шла рѣчь выше. Опасность односторонняго погруженія в свои воспоминанія «Числам» до конца ясна. (Очень опредѣленно она высказана в рецензій на «Суд Вареника» — Федорова). Большая-же и горшая опасность полнаго отрыва от Россіи, т.е. опасность предательства вѣчной памяти о ней — им настолько не ясна, что нѣсколько странный сам по себѣ анкетный отзыв И. Шмелева о творчествѣ Марселя Пруста: «наша литература слишком сложна и избрана, чтобы опускаться до вліяній... невнятности, хотя и четкой...», становится вполнѣ понятным.

В цѣлом рядѣ отвѣтственных статей, помѣщенных в «Числах», как и в господствующем обликѣ «Числовской» беллетристики, есть какое-то явно ощутимое углубленіе правильной борьбы против эпигонства и провинциальности беллетристики сердцевщипательных воспоминаній до неправильнаго отрицанія

вѣчной памяти по Россіи. Дѣло тут, и это очень важно, не в проповѣди сознательнаго отхода от истоков русской духовности и культуры, не в новом пореволюціонном западничествѣ, а в чем-то гораздо болѣе сложном. Лозунга «спиной к Россіи, лицом к Западу» из «Чисел» вычитать нельзя, хотя Г. Адамович и пишет вполнѣ откровенно «о нестерпимой тупости славянофильства». Отведеніе писательскаго взора от Россіи означает для ряда «числовцев» не столько перевертываніе его взгляда на запад, сколько обращеніе его во внутрь, в глубину денациональной или сверхнациональной души. Уже Г. П. Федотовым было в свое время правильно отмѣчено, что в «Числах» (у Г. Адамовича, Б. Поплавскаго, Н. Оцуца и др.) наблюдается стремленіе к развоплощенію міра, к совлеченію с міроваго духа его природной и культурной плоти и в связи с этим странная, в художественном журналѣ почти непонятная вражда к творчеству, к облеченію духа в плоть и, главным образом, к національному и бытовому уплотненію плоти. Борьба «Чисел» против «тупости славянофильства» означает таким образом не борьбу западников против національной Россіи, а, как это ни странно, скорѣе борьбу каких-то новых восточников, буддійствующих христіан против западничества славянофилов, против их, чуждых Востоку мироустремленной хозяйственности и бытолюбивой плотяной тяжести.

Новоградцы — не евразійцы: — бытового исповѣдничества, которое, к слову сказать, и евразійцы уже перестали проповѣдывать, никогда не защищали. Тѣм не менѣе в наших позиціях есть что-то, что очевидно раздражает нѣкоторых «числовцев» своею славянофильскою устремленностью к социальному дѣланію и к христіански-национальному домостроительству — вообще к догмату и паѣосу воплощенія.

Ярким примѣром такого раздраженія может служить слѣдующая, не одиноко стоящая в «Числах», цитата из комментарій Г. Адамовича. Привожу ее не в полемических цѣлях, а исключительно в цѣлях дальнѣйшаго выясненія моего взгляда на задачи молодого эмигрантскаго писательства. Г. Адамович пишет: «Еще гораздо страннѣе... новоградски-утвержденская модернистическая кашка из приторнаго нестеровскаго правосла-

вія и соціалістических достижений, вся это вообще революція на лампадном маслѣ. Доказать и тут ничего нельзя, но вся фальшь, которая есть в Достоевском, в «Дневникѣ писателя» больше всего, хотя и в «Письмах» и даже в «Карамазовых», — и во всей этой государственно-православной литературной линии, с отклоненіями то к Соловьеву, то к Леонтьеву, здѣсь сгущена до нестерпимой отчетливости... Главное — они хотят «строить» реально во времени и исторіи, на землѣ, и не чувствуют неумолимаго «или - или» раздѣляющаго христіанство и будущее». Мнѣ сейчас не хочется спорить с Г. Адамовичем о правильности и не-правильности его характеристики новоградски-утвержденскаго сознанія. По моему она не вѣрна, но это не важно. Важно признание Адамовича, что у христіанства нѣтъ будущаго, что христіанство уходит из міра, что и «подумать нельзя, чтобы можно было попытаться вдохнуть его в кровь человѣчества», т.-е. утвердить его как верховную тему пореволюціоннаго строительства русской культуры и жизни. Но если так, то что же дѣлать молодому писателю эмиграціи, вѣрищему (это очень важно) вмѣстѣ с Г. Адамовичем, что хотя христіанство, конечно, и не опровергнуто, оно навсегда обезкровлено и обезсмыслено. Не означает-ли такое настроеніе с одной стороны полного разрыва с прошлым Россіи (— хорошо ли, худо ли бывшей все-же страной православною), а с другой и с ея будущим? — ибо какое-же будущее у страны, не могущей жить не опровергнутой истиной своего прошлаго? Как раз эмигранту, в отличіе от бѣженца, жить с таким мироощущеніем никак не возможно, ибо весь смысл эмигрантскаго служенія, эмигрантской памяти о Россіи, заключается в восстановленіи той традиціи русской культуры, которая была прервана революціей.

Взгляд, превращающій такое служеніе в утопію и иллюзію, не может не лишать эмиграцію в цѣлом чувства осмысленности ея бытія и ея борьбы, а эмигрантскаго писателя, как сознательнаго и убѣжденнаго эмигранта, необходимаго для него ощущенія жизни и работы в своей собственной средѣ над своими

собственными заданиями. Косвенным доказательством правильности этого взгляда является то горькое чувство одинокаго пребыванія в безвоздушном пространствѣ, которое не только гайно звучит у многих сотрудников «Чисел», но и высказывается ими. Так, напримѣр, очень искренняя и внутренне точно вывѣренная статья В. Варшавскаго «О героѣ эмигрантской молодой литературы» начинается с признанія, что ум молодого эмигрантскаго человѣка лишен огромной части того матеріальнаго содержанія идей и интересов, которые наполняют сознаніе людей, находящихся и дѣйствующих в опредѣленной соціальной сферѣ.

О том же изыятіи «сущности» человѣка из «общественности» говорит и Терапіано («Человѣк 30-х годов», «Числа» 7-8). Правда, оба молодых автора, как и вообще «Числа», пытаются выдать асоціальнаго «я» человѣка за нѣкую подлинную духовную реальность, которую эмиграція и должна противопоставлять духовно опустошенной «общественности» большевицкаго коллективизма. Терапіано так прямо и пишет: «рѣшимость выдерживать одиночество» самое значительное, что приобрѣло новое поколѣніе, и дай Бог, чтобы лучшая часть наших молодых поэтов и писателей не соблазнилась-бы легкой, дешевой удачей — литературой — толпы ради». Но попытки эти, при всей их психологической понятности и правдивости, духовно все-же явно ошибочны и культурно-политически вредны. Их ошибка и даже больше — их грѣх, их соблазн, заключается в том, что онѣ рѣзко отдѣляют «сущность» человѣка от «общественности», религиозный план жизни — от соціальнаго. Дѣлать человѣка на духовно-реальную «вещь в себѣ» и на производныя отраженія этой реальности в сознаніях и волях ближних, как вслѣд за Шестовым дѣлает Варшавскій — нельзя. Вся эта Кантовская схема к духовной жизни не примѣнима. Наше человѣческое «я», только потому и «я», а не вещь, что оно начинается с «ты», с «ты еси», с «мы», т.-е. с утвержденія соборности соціальнаго начала, или — по Аристотелю — с утвержденія политическаго начала, как предпосылки личной жизни. Это не значит, конечно, что каждый эмигрантскій писатель и поэт должен заниматься политикой и соціальными вопросами в ду-

хъ и смыслъ политическихъ партій или движеній; это значитъ только, что он не можетъ творить, никого собою не представляя и ни к кому не обращаясь, не ощущая в ощущеніи «мы» живой связи с каждымъ предстоящимъ ему «ты». Писатель, ощущающій себя мистическимъ фонтаномъ, бьющимъ в безвоздушной средѣ под стекляннѣмъ колпакомъ, духовно такъ же немислимъ, какъ физически немислимъ такой фонтан; в особенности в нынѣшнюю эпоху, правда которой не только в борьбѣ противъ механическаго коллективизма, но и того духовнаго и социальнаго одиночества, которому этотъ коллективизмъ пришелъ на смѣну. Мольба Валерія Брюсова: «Одиночество, встань, словно мѣсяцъ, над часомъ моимъ» — всегда звучала несправедливо и даже снобистично. В нашемъ же положеніи, гдѣ одиночество отнюдь не в поэтическомъ образѣ мѣсяца, а гораздо реальнѣе и страшнѣе стоитъ над большинствомъ из насъ, эмигрантовъ, настаивать на немъ и не правильно и вредно. Правильно какъ разъ обратное: выходъ из своего одиночества, но выходъ, конечно, не в «толпу» (толпа — злѣйшее одиночество, мѣсто толченъ всѣхъ одинокихъ), а в «общее дѣло» эмиграціи, по собиранію, уплотненію, а в будущемъ и воплощенію (черезъ кого и какъ, сказать еще невозможно) того подлиннаго, вѣчно мѣняющагося, но и во вѣки вѣковъ неотмѣннаго образа Россіи, который страстно оспаривается коммунистическою властью, но изуродованно и однобоко возстановливается, конечно, и в Совѣтской Россіи. Только в такомъ — не побоимся сказать — геронческомъ настроеніи возможно молодому эмигрантскому писателю найти себя и свой творческій путь. Внеъ его обязателенъ срывъ, который уже давно началъ намѣчатся в нашемъ писательскомъ зарубужьѣ. Эмиграціи надо каждый день себя повторять, что сохраненіе своего лица возможно только на путяхъ покорности своей судьбѣ. Отступничество отъ заданій, предначертанныхъ намъ самою судьбою, всегда ведетъ к погашенію лица, к разложенію его в случайно окружающую насъ средѣ. Мы же всѣ все время окружены чужой и в каждой странѣ иной средой. Опасность отступничества отъ нашихъ эмигрантскихъ заданій и обезличенія нашего творческаго лица — для всѣхъ насъ очень велика. Потому необходима постоянная настороженность слуха и постоянная провѣрка воли.

Всякій культурническій сепаратизмъ «Новому Граду» не только чуждъ, но и враждебенъ. Тѣмъ не менѣе нельзя не видѣть, что французская литературная среда и традиція начинаютъ подчасъ зловѣще разлагать нужную для дѣла эмиграціи русскость молодого писательства. Имена Джойса, Жида, в особенности Пруста встрѣчаются в устахъ парижскихъ писателей чаще крупнѣйшихъ русскихъ именъ. Нѣкоторые изъ нихъ и сами пишутъ под излюбленнаго ими Пруста, явно впадая при этомъ в чуждый русскому искусству аналитическій психологизмъ и в явно французскую интонацію фразы.

Характернѣе писательства быть можетъ молодая парижская критика, в частности рецензіи журнала «Числа». При всемъ разнообразіи пишущихъ в самомъ подходѣ к проблемѣ литературной критики есть почти у всѣхъ нѣчто общее, русской критической традиціи чуждое. Это общее и чуждое заключается в томъ, что в ней нѣтъ того «варварства», которымъ Западу представляется русская идейность. Говоря иначе: ея не-русскость заключается в отказѣ отъ духовнаго водительства писателя и читателя. Вся русская критика держалась — причемъ не только в лагерѣ общественниковъ, но и в лагерѣ символистовъ — вѣрой. Парижская-же критика держится не вѣрой, а вкусомъ. Русская критика, вплоть до собраній «Свободной эстетики», была, какъ это ни странно звучитъ — споромъ безъ разговоровъ. Рецензійные же отдѣлы «Чиселъ» — это разговоры безъ спора. Всякій правъ, кто нѣчто свое зорко увидѣлъ и точно сказалъ. В такомъ подходѣ к вопросамъ литературы явно сказываются метафизическая усталость, европейскій профессионализмъ и декадентствомъ тронутый эстетизмъ. Всѣ эти свойства приводятъ иногда к страннымъ сужденіямъ: «Толстой в сосѣдствѣ с Прустомъ перестаетъ сиять, вянетъ, блекнетъ», причемъ дѣло «не в литературномъ превосходствѣ, а в чем-то поважнѣе»; «Густавъ Мейрингъ — тождествененъ Гоголю втораго періода»; «Фельзенъ связанъ с Лермонтовскою прозою»; «Его (Достоевскаго) идеи почти никогда не бываютъ абсолютны, онѣ выражаютъ лишь состоянія его персонажей»; «Владимір Соловьевъ... одни чернила»; «Русская литература мало занималась

«собственно» человѣком»... Все это от лукаваго. Всѣ эти сужденія, а таких много, в лупу увидѣнные и в громкоговоритель провозглашенные маленькія полувѣрности, оспаривающія своим преувеличеніем истинное обстояніе вещей. Владимір Соловьев, несмотря на неприятную діалектически-гегельянскую поверхность своих произведеній, писал, конечно, кровью (это чувствовали и Блок, и Бѣлый). Чернилами его кровь кажется цѣлым трем критикам «Чисел» только потому, что, страшно занятый удумываніем и устройеніем міра, он пренебрегал (в отличіе от гениальнаго по красочности писателя Розанова) писательским мастерством и довольствовался в теоретических статьях духовно всегда глубокой, а часто и весьма остроумной гладкой фразой «Русских Вѣдомостей». «Собственно человѣком» русская литература занималась больше всѣх других литератур; не занималась она только психологіей, но психологія имѣет мало отношенія к «собственно человѣку». Идеи Достоевскаго — есть подлинно идеи, а не «состоянія его персонажей». Прав не Жид, психологизирующій Достоевскаго, а Бердяев, утверждающій, что Достоевскій не психолог, а пневматолог. Не буду продолжать своих контр-замѣчаній. Думаю, что и сказаннаго достаточно для новаго освѣщенія и подкрѣпленія моей мысли, что творить эмигрантское дѣло можно только ощущая эмиграцію, как живую социальную среду и духовный авангард той тайной Россіи, которая завтра станет явной, а творить эмигрантскую литературу, как русскую, можно только в ощущеніи жизненности и нужности обще-эмигрантскаго дѣла. Вънѣ этого остается: распыленіе, одиночество, денационализація и в предѣлѣ для единиц, как единственный послѣдовательный выход — переход на иностранный язык.

Я очень хорошо понимаю всю трудность той задачи, которую я ставлю перед молодою эмигрантскою литературой. В концѣ концов у писателей зарубежья ничего другого за душою нѣтъ, да и быть не может, кромѣ шепота горестно-сладостных воспоминаній о своем клочкѣ своей Россіи, весьма безрадостных впечатлѣній эмигрантско-европейскаго быта, да вѣчных мук и радостей одинокаго человѣческаго «я». Признавая это, я все-же утверждаю, что ни того, ни другого, ни третьяго не

достаточно, чтобы эмигрантская литература могла расти и крѣпнуть. Для ея дѣйствительнаго роста, для духовнаго вызрѣванія молодых дарованій необходимы кромѣ опредѣленнаго запаса вывезенных из Россіи и набранных в эмиграціи сюжетов, да того углубленія в свое «я» вплоть до встрѣчи со «сверх-я», с вѣчностью, с Богом, без котораго невозможно большое искусство, еще и нѣкая общая направленность сознанія, нѣкая общность духовнаго служенія, нѣкая единая тема и нѣкая единая проэкторная плоскость для всѣх душевных исканій и сюжетных замыслов. Необходимо, одним словом, все то, что было, как я пытался показать, и у западнически-общественнаго крыла русской литературы, от Тургенева и Григоровича до Горькаго и Короленки, и у религиозно-символическаго — от Гоголя и Достоевскаго до Бѣлаго и Блока. Таким обобщающим началом не может быть ни курящееся воспоминаніями пепелище сгорѣвшей усадьбы, ни во всѣх странах иная и всюду одинаково мучительная эмигрантская жизнь. Таким общим началом может быть только то, что по судьбѣ и по заданію обще всѣм эмигрантам: историческая трагедія революціи и вѣчный лик Россіи. С этими темами не справиться ни при помощи зарисовки по памяти прежней Россіи, ни при помощи парижски-бѣлградски-харбинских снимков с натуры. Не помогут тут ни углубленіе в свое личное «я», ни метафизическій надрыв одинокаго умствованія, ни скорбно-безстыжее оголѣніе своих половых мук, ни щеголяніе культурничеством и духовною утонченностью. Тут нужен, как он ни труден в эмигрантских условіях, выход на совѣм иной и очень большой простор. Болящая сердцевина эмигрантской жизни: исторгнутость из Россіи и неприкаянность в Европѣ должна быть превращена в отправную точку всей творческой жизни писателя. Россія, не данная в ежедневном непосредственном содержаніи, должна быть внутренне увидѣна при помощи пристальнаго изученія ея исторіи, культуры, литературы. Должны быть разгаданы ея сложныя судьбы, ея трагическія отношенія к Европѣ, приведшія нас в Европу, постигнуты реальныя и живыя нити, объединяющія живущіе в ней народы и племена, внутренним взором увидѣны таинственные лики ея пейзажей, передуманы мысли и перечувствованы

чувства ея великих людей и, наконец, предчувственно уловлены смутныя очертанія ея грядущаго духовнаго и тѣлеснаго облика. Все это должно быть осилено не в порядкѣ научнаго историческаго или социологическаго изслѣдованія, а в порядкѣ живого художественно-интуитивнаго постиженія, в порядкѣ длительного, упорнаго, конечно, труднаго и остро-личнаго разгадыванія таинственнаго смысла нашей эмигрантской судьбы, в порядкѣ защиты нашей политической чести, в порядкѣ исповѣданія нашего національнаго служенія. Только такую сложную работой, только на такихъ обходныхъ путяхъ, можетъ молодой эмигрантскій писатель внутренне срастить свой творческій путь, какъ съ духовнымъ возстановленіемъ Россіи, такъ и съ религіозной, философской, изслѣдовательской и политической работой эмиграціи. Само собою разумѣется, что мой призывъ къ молодымъ писателямъ направить свою волю и свои взоры в сторону Россіи, отнюдь не означаетъ требованія сюжетнаго самоограниченія. Описывать можно, конечно, что угодно: парижскую Ротонду, марсельскую гавань, торговлю опиумомъ на Дальнемъ Востоку, кассейную барышню в свѣтелкѣ над рѣкой. В послѣднемъ счетѣ важно не то, что писатель описываетъ, а то, что онъ всѣми своими писаніями говоритъ, что онъ пишетъ. Важно потому лишь одно, чтобы всѣми писаніями молодые эмигрантскіе писатели писали, живописали тотъ вѣчный обликъ Россіи, который каждый эмигрантъ обязанъ не только пассивно таить, но и ежедневно активно творить в себѣ.

Ф. Степун.

Борьба за искусство

Мы далеки от мысли, привычной XIX вѣку (Платону!), что искусство есть отраженіе дѣйствительности. Но для насъ совершенно неприемлема и позиція современныхъ формалистовъ, для которыхъ искусство есть совершенно несвязанная с дѣйствительностью (сюжетомъ) форма игры. Отношенія между искусствомъ и жизнью очень сложны. Если подъ жизнью понимать социальную дѣйствительность, то эти отношенія взаимны. Художникъ воспитывается обществомъ, конечно, но его созданіе воспитываетъ общество. Вертеръ и Печеринъ не столько отраженія, сколько образцы. А если жизнь означаетъ прежде всего духовную жизнь, духовную активность человѣка, то искусство есть не выраженіе, а одна изъ формъ этой активности: творческая, создающая новое, а не отражающая данное. Подданство искусства, какъ частной сферы бытія, оправдано не по отношенію къ социальной, бытовой жизни, такой же частной сферѣ, какъ и оно само, а лишь по отношенію къ той полнотѣ жизни духа, какой можетъ быть и иногда бываетъ религія.

В тѣ несчастныя, трагическія эпохи, когда религія свертывается, уходитъ подъ поверхность культуры, становится сама частной сферой (что противорѣчитъ ея природѣ), искусство на первыхъ порахъ какъ будто выигрываетъ. Оно занимаетъ пустующій тронъ своей «небесной сестры». Человѣкъ, потерявшій Бога, в искусствѣ ищетъ разгадки всѣхъ проклятыхъ вопросовъ, ищетъ смысла и оправданія своей жизни. Вотъ почему для этихъ эпохъ искусство имѣетъ крипто-теологическій характеръ, — несмотря на секуляризацию, — а в сущности именно благодаря ей. Изучая смѣну его направленій, мы изучаемъ религіозную судьбу современнаго человѣка: его переживаніе грѣха и смерти, его пониманіе спасенія — с Богомъ или безъ Бога. Этимъ оправданъ и нашъ подходъ къ искусству современности, не какъ къ сферѣ чисто эсте-

тической, а как к свидетельству о цѣльности — или о скудости — человѣка: о его жизни и гибели.

Да, и прежде всего о гибели. Искусство новаго времени есть отчаянная борьба человѣка с духом небытія, который открылся ему, как только закрылось небо. Попытка кровью своего творчества побѣдить смерть, пробиться к вѣчности сквозь стѣны оплотнѣвшей тюрьмы. Увы, вѣчная царица современнаго духа, искусство рано начинает сознавать себя самозванкой. С чуткостью, на которую неспособно мозолистое научное мышленіе, искусство приходит к сознанию исчерпанности своих сил. Человѣческое творчество оказывается не абсолютным. Оно расходует накопленные духом тысячелѣтніе запасы, и в мотовствѣ первых лѣтъ блудному сыну может казаться, что его сокровища неистощимы. Накопленных и освобожденных сил оказывается достаточно для творчества, богатство и мощь котораго могут даже затмить болѣе скромное, болѣе сдержанное искусство религіознаго вѣка. Но конец близок. Рано или поздно, мы доходим до своих рожков. Кажется, в наши дни эта дѣлта становится почти всеобщей.

Эта борьба искусства за жизнь человѣка протекает в условіях такого ускоренія темпов, что на протяженіи двух-трех поколѣній развернулись и свернулись духовныя движенія, в былое время способныя насытить столѣтія. Теперь духовный вѣк оказывается короче человѣческой жизни. Эпохи культуры, которыя кажутся нам совершенно отжившими и умершими, живут в сознаніи еще не умерших людей. Вся исторія XIX и XX столѣтій сохраняется в сознаніи наших живых современников. Задумав писать исторію, мы невольно становимся географами современнаго міра. Лишь уровень соціальных пластов да критерій качества свидетельствуют об исторической послѣдовательности: старыя моды оказываются болѣе поношенными, демократическими и провинціальными.

I

Реализм составляет все еще ту почву, на которой вырастают всѣ художественныя направленія современности. По

разному отрицая его, онѣ предполагают его данность. Для огромных масс читателей, опредѣляющих книжный рынок, другаго искусства, кромѣ искусства середины XIX вѣка, не существует. Пусть никто из критиков серьезно с ним не считается, как с живой цѣнностью, но симпатіи миллионов влекутся к нему, как раньше к лубочному роману, в котором доживала для масс нѣкогда аристократическая поэзія средневѣковья. Больше того, даже для самого художника, реализм все еще играет роль смягчающей среды, страхующей от опасных результатов художественнаго эксперимента, вродѣ сѣтки, на которую падает сорвавшийся акробат. Неизжитостью реализма объясняется живучесть неизлѣчимо больнаго искусства: в его мнимой цѣльности заключена возможность еще многих мнимых возрожденій.

Говоря о реализмѣ, трудно избѣжать недоразумѣній, связанных с разнородностью покрываемых этим именем явленій. Трудно говорить о принадлежности к единой школѣ Флобера и Зола, Диккенса и Толстого. Приходится отвѣчаться от своеобразія отдѣльных художников: от жестокости Флобера и сентиментальности Диккенса, от риторизма Зола и метафизичности Толстого. Как для всѣх направленій, созданных не волею творческаго генія, а «духом времени», средняя продукція лучше, чѣм геніальныя вещи, соответствует научной классификаціи. Но даже в отвлеченіи от горных вершин XIX вѣка, его «плоскогорье» представляет много замѣчательных черт, не связанных с эпохой, противоборствующих ей и этим как раз обезпечивших реалистическому искусству такую жизненность.

Середина XIX вѣка была эпохой торжества механической физики и физиологій, экономических и технических интересов в соціологій. Поддаваясь новым тенденціям, реалистическій роман (мы говорим о романѣ, как о характерном достиженіи реалистическаго искусства) сохраняет однако самыя существенныя черты классической и романтической эпох. От классицизма идет отчетливость построенія, ясность взгляда на мір, та непрерывность, сплошность ощущенія жизни, которая для нас является утраченной тайной. Мір без провалов, без каджанов, без про-

межутков «небытія» — таков, каким он представляется великим рационалистом XVII вѣка. Декарт и Лейбниц — в большей степени, чѣм Гельмгольц или Молешот — годятся в духовные отцы реализма. Из этого же источника и его основной оптимизм, вѣра в добрую разумность «природы», которой не может гарантировать, конечно, атомистическая физика.

Романтизм завѣщает реализму, в вѣк господства социальных сил, вѣру в примат личности и ея судьбы. Даже в социальных романах XIX вѣка личная судьба уравнивает социальную драму. Любовь по прежнему составляет солнце міра, и при том любовь, какой ее создало романтическое воображеніе средневѣковья и воскресило утро XIX вѣка, — лишь освобожденная от экстравагантностей. Базаровы так и не дождались — вплоть до совѣтской беллетристики — изображенія любви, достойной реалистическаго вѣка. В особенности женщина — даже у Толстого — остается в своей любви вѣрной романтической традиціи: все еще полу-ангел, в которой плоть молчит, а страсть не подлежит человѣческому суду.

В этом культ личности, как и в морализмъ своем, роман XIX вѣка возвращается, через голову скептиков XVIII вѣка, к христианской традиціи. Безспорен христианскій характер этики реалистов — особенно в свѣтъ позднѣйшей реакціи Ницше и Маркса. Если этика эта ближе к Жорж Занд, чѣм к Домострою, если она отрицает христианскій аскетизм и даже живет этим его отрицаніем, то нельзя забывать, что уже романтизм ставил своею цѣлью христианское «преображеніе» чувственности. Вообще поздній романтизм (это особенно наглядно у Тургенева) завѣщал реализму свой образ міра, и реализму оставалось только сенсуализировать его: наполнить полнотою красок, звуков и запахов жаркаго лѣтняго дня. Главное своеобразие реализма и его творческая заслуга и состоит в завоеваніи чувственного міра, а также міра социального, в который поставлена старая, в христианской этикѣ воспитанная личность. Христианство остается еще невидимой, освѣщающей и согрѣвающей силой, подобно солнцу, только что скрывшемуся за горизонтом. Без него, кажется, даже яснѣе видны дали, и легче дышать послѣ знойнаго дня. И сумерки и холод придут позже.

Странно на первый взгляд, но вполне согласно с діалектикой развитія, что в эту безбожную эпоху, в этом «столько человѣческом» искусствѣ христианство приносит свои нѣкоторые самые совершенные плоды. Никогда еще за два тысячелѣтія христианской эры культура состраданія, напимѣр, и культура совѣсти не достигала такой утонченности. Давно потеряв религиозныя посылки, человечество только теперь додумывало и дочувствовало их этические выводы. Исключеніе представляет Франція, гдѣ слѣды романтизма стирались радикальнѣе, гдѣ новый реализм накладывался на скептицизм и эротизм XVIII вѣка, образуя безстрашную и безрадостную, жестокою и чувственную, подлинно трагическую маску. Безстрастіе Флобера, конечно, находится в большем согласіи с философскими основами XIX вѣка, чѣм чувствительность англійскаго или русскаго романа. Французы остаются здѣсь самыми зоркими и послѣдовательными художниками, указывая всѣм на «сѣдое утро» грядущаго, безсолнечнаго дня.

II

Разложеніе реализма начинается с утраты цѣльности. Та непрерывность, сплошность, заполненность бытія, которая в реализмъ была незаконным наслѣдіем классической религиозной эпохи, вдруг исчезает. Дѣйствительность начинает представляться отрывочной, всегда частичной, и потому непонятной. Начинается первое произвольное «остранненіе» міра. Таков Чехов, еще реалист по письму, но способный зорко и правдиво видѣть лишь осколки расплавшагося міра. Человѣческая судьба для него непонятна — отсюда невозможность романа. Природа, прекрасная для глаз, перестает быть источником внутренняго жара. Писатель вдруг теряет состояніе влюбленности в жизнь. Он вглядывается в нее любопытными, прищуренными глазами, с улыбкой недоумѣнія и холодком в душѣ. Благородство Чехова в значительной степени зависит от утраты им низших, осязательных, обонятельных и вкусовых ощущеній. Его мір легче и разряженнѣе Толстого, ибо воспринимается одними глазами. Отсюда его асексуальность.

Но Чехов не сдѣлал школы. Болѣе торной дорогой дискон-
тинуації міра шел импрессионизм. Импрессионизм хо-
чет лишь развивать тенденції, заложенные в основѣ реализма:
чувственное изслѣдованіе міра. Не довѣряя ничему, стоящему
за предѣлами непосредственного воспріятія, сознательно отка-
зываясь от цѣлостнаго образа міра, импрессионизм хочет воз-
наградить себя за отрывочность своего воспріятія его обо-
стренностью. Вложить всю силу своего жизненнаго порыва в
этот отрѣзок дѣйствительности, в это красочное пятно — та-
кова его цѣль, которая достигается без труда. Всѣ линіи и тѣм
болѣе поверхности и объемы растворяются в пятнах, в сгустках
чувственной матеріи, переживаніе которой достигает необычай-
ной остроты. Отсюда иллюзія полной жизненности этого искус-
ства, по сравненію с которым все предыдущее искусство ка-
жется отвлеченным и идеальным. В Россіи линія импрессиониз-
ма идет от Толстого к Бунину и той многочисленной, но не
влиятельной группѣ писателей, которая объединилась в горь-
ковском «Знаніи». Сами себя они, конечно, сознавали реали-
стами, и при том с повышенным жизнеощущеніем. Однако, при
сравненіи с мастерами XIX вѣка, бросается в глаза фрагментар-
ность их міра, бѣдность их фабулы, сырой, непеработанный
характер их матеріи. Уже у них природа, вещи, чувственныя
качества начинают съѣдать человѣка, растворять его в сти-
хіях міра.

Современная совѣтская литература, в существенном, про-
должает эту импрессионистическую традицію, дополненную нѣ-
которыми формальными достижениями русскаго символизма.

Перенесенный в область психологическаго анализа, им-
прессионизм открывает за разумной поверхностью души беско-
нечный и таинный мір безсознательнаго. Это открытіе имѣет
огромное значеніе для самосознанія новаго человѣка. Но обрат-
ной стороной, цѣной за это расширение жизненной сферы, яв-
ляется утрата «я», как цѣльности душевно-духовнаго міра. Уже
не я мыслю, не я люблю, но во мнѣ вспыхивают и гаснут мысли,
желанія и ощущенія, которым иногда нѣтъ и имени. Одним из
первых Шницлер примѣнял метод импрессионизма к анализу

«я» в своем «Leutenant Gustl». Безконечно углубил этот круг
изслѣдованій Пруст и его школа. Конечно, Пруст тоскует по
утраченной цѣльности, и самая идея его романа выросла из
стремленія вернуть непрерывность психическаго міра, которую
он находит в памяти; но в этой непрерывности потока пережи-
ваній отсутствует его носитель: волящее, отвѣтственное, дѣй-
ствующее «я».

Утрата «я» была результатом самого аналитическаго мето-
да импрессионизма. Но окончательно убивает «я» отмираніе эти-
ки. Реакція против перенасыщеннаго морализмом (особенно в
Англіи и в Россіи) XIX вѣка была до извѣстной степени есте-
ственной. На пути к смѣлым экспериментам в сферѣ личности
мораль ставила самыя сильныя преграды. Однако Достоевскій,
а позже Ибсен показали, что сама этика, далеко не исчерпы-
ваясь сферой непреложных норм, представляет безконечное
поле для самых интересных изслѣдованій моральных проблем.
Бѣда лишь в том, что, вмѣстѣ с паденіем религіознаго міросо-
зерцанія, вся моральная проблематика становится мнимой. Мни-
мыя цѣнности этики не могут выдержать сравненія с реальной
цѣнностью эстетических и чувственных переживаній.

Можно, сколько угодно, протестовать против гипертрофій
морали в культурѣ XIX вѣка. Остается безспорным, что в мо-
ральном напряженіи заключено самое ядро личности; что «я»,
находя себя в моральном актѣ, снова теряет себя в мірѣ ощу-
щеній.

Торжество эстетики, провозглашенное в концѣ XIX в., на
самом дѣлѣ было торжеством эстетики ощущеній, т.-е. элемен-
тарно-чувственных элементов эстетическаго акта. Культура
декадентства, объявившая жестокою войну реализму,
была прежде всего суженіем сферы реальнаго, и потом уже, в
этой суженной сферѣ, культурой формальнаго совершенства,
т.-е. частичным возвратом к классицизму. Классицизм преобла-
дает в русском Мірѣ Искусства, в поэзіи Брюсова, в прозѣ
Оскара Уайльда. Французскій декаданс реалистичен — и у
Бодлера и у Гюисманса. Он отличается от своих предшествен-

ников лишь обостренностью восприятия жизни и специфичностью своих тем.

Эту остроту и новизну импрессионистический реализм нашел в болѣзни, в жестокости и в сексуальности — в том темном полушарии мира, которое, нѣкогда ярко освѣщенное христианством, вернулось в ночь бессознательнаго в оптимистические вѣка исторіи.

Мир эроса обѣщал, как будто, необычайно обогатить содержание опыта, освобожденное от этоса. Угадывали справедливо, что здѣсь найдена основная сила жизни, долго томившаяся в подпольѣ. На самом же дѣлѣ освобождение этой силы быстро привело к ея опустошенію. Это зависѣло от того, что изучение ея протекало в плоскости ощущений, на которыя распалась личность. Эротическія находки (в сущности, возвращеніе к издавна извѣстным элементарным формам) не могли искупить огромной, невознаградимой потери: потери любви. Любовь, которая с XII столѣтія была главным содержанием искусства, через одно-два поколѣнія, отравленных элементарной стихіей пола, сдѣлалась вещью непонятной, ирреальной, и даже невообразимой. Теперь стало аксіомой, что любовь не может быть темой искусства, будто бы потому, что ея изображеніе исчерпано до конца. На самом дѣлѣ, и здѣсь, как в сферѣ нравственных актов, мы имѣем дѣло с исчезновением самой сферы дѣйствительности, подлежащей художественному изображенію. Любовь исчезла из жизни с той же неизбѣжностью, как из искусства. И эротика быстро исчерпывает свои ограниченныя возможности.

Эротика вмѣсто любви. Жестокость вмѣсто состраданія. Новый вѣк начинается сознательной культурой жестокости: у Ницше, Уайльда, в Россіи впервые даже не у Брюсова, а у Горькаго. Помимо остроты, свойственной этой темѣ, как реакціи против христианскаго прошлаго, жестокость имѣет, конечно, свой эротическій коэффициент. В наши дни война и революція сдѣлали из жестокости и социальную добродѣтель. Нашему поколѣнію представляется (в противоположность XIX вѣку), что жестокость — симптом силы. Мечтают обрѣсти утраченную силу чрез убійство, подобно тому, как в средніе вѣка принимали от проказы ванны из человѣческой крови. На садизм тира-

нов есть только форма неврастеніи. Лишь своя, вольно проли-тая, кровь имѣет искупительное значеніе.

Так на протяженіи одного поколѣнія (fin de siècle) были разбиты тѣ формы искусства и то чувство мира, которыми жил XIX вѣк. То было болѣе, чѣм крушеніем старых форм. То было гибелью человѣка. Человѣк, стержень мира, разбился на поток переживаній, потерял центр своего единства, растворился в процессах. Жизнь не противорѣчила искусству. В жизни нарастали огромныя техническія и социальныя энергіи, которыя подготовили взрыв антропоцентрической цивилизаціи и грозят раздавить человѣка в столкновеніи безличных коллективов и разрушительных матеріальных сил.

III

Но человѣк и искусство не желают умирать. Все снова и снова дѣлаются попытки спасти искусство, в быстрой смѣнѣ направлений послѣдних десятилѣтій. То, что представляется профанам капризными смѣнами моды, на самом дѣлѣ является борьбой не на жизнь, а на смерть, в которой группа передовых художников, вмѣсто того, чтобы развлекать буржуа, в чем многіе видят их призваніе, мучительно пытается отсрочить смертный приговор для человѣчества. И не только отсрочить приговор, но, может-быть, найти источник новой жизни.

Одним из первых таких опытов спасенія человѣка было его возвращеніе к природѣ и раствореніе в ней. Религія пантеизма ищет спасенія от личной смерти в безсмертіи космическаго цѣлаго. Древнее завѣщаніе язычества христианскому человѣчеству, пантеизм живет и в романтической стихійности (ср. «Фауст» Гете) и в подпочвѣ новаго реализма. Он очень силен у зрѣлаго Толстого. Вся школа его учеников — и Бунин, и «знаевцы», и Горькій, потерявшие человѣка, думают отыгаться на вѣчности природной красоты. Они проповѣдуют стихійную силу жизни, которая у русских реалистов начала XX вѣка замѣняет нравственную силу XIX вѣка. Французы, давным давно убившіе для себя культурой эротики ростки всякой религіи природы, были лишены этих ресурсов. С тѣм боль-

шей силой, хотя и с чрезвычайным запозданием, в добродетельной Англии, отрекающейся от пуританства, пантеистическая тема, которая слышится уже у поздних викторианцев (Т. Гарди, Голсворти), звучит побѣдно в послѣвоенные годы: Лоуренс, М. Уэбб.

Искусству пантеизма удается иногда достигнуть великаго. Мать-земля не только питает своих сынов, но и поит их вином своих лоз. Самое совершенное у Толстого, у Бунина течет из этого первоисточника жизни. Одно лишь остается неизмѣнным: чѣм болѣе жадно пьет из него художник, тѣм скорѣе выпивает до дна свою чашу и находит на днѣ жизни — смерть. Человѣкъ никогда не примирится с судьбой звѣря, и видѣніе трупа разрушает для него земной рай. Вот почему самые могучіе художники жизни оказываются самыми зоркими изобразителями смерти: тѣ же Толстой и Бунин. Для широких масс русской интеллигенціи діонисическую тему Горькаго договорили до черной ямы — Арцибашев и Леонид Андреев. Глубочайшим отчаяніем кончается пантеистическая попытка спасти человѣка.

В терминах эстетики, пантеизм не ищет новых путей, довольствуясь приемами стараго реализма и импрессионизма. Мы должны были однако выдѣлить его из схем упадочных форм реализма, потому что он представляет не распад, не разложение, а героическую попытку воссозданія утраченнаго единства. Этого единства он ищет уже не в человѣкѣ, а в стихійной основѣ міра, и потому его единство бессильно спасти человѣка.

В отличіе от пантеизма, который есть лишь метафизическая направленность, а не художественная школа, символизм одновременно и стиль и міросозерцаніе. Символизм — не эволюція реализма, а революціонный разрыв с ним: радикальная попытка построенія новаго міра. Правда, подлинной, пророческой силы это движеніе достигло только в Россіи, гдѣ в нем вскрылись спящія религиозныя потенціи русской души. Его замысел был грандіозен и, я убѣжден, теоретически, безупречен. Символизм видѣл изсыханіе и смерть обезбоженнаго міра. Он томился подлинным религиозным голодом. Утоленія его он искал в красотѣ, как отраженіи божественнаго міра. Реальная дѣйствительность лежала перед ним, как мір воплощен-

ных в матеріи и в ней сквозящих божественных идей. Художественное изображеніе міра есть одновременно его преображеніе и богопознаніе. Таким, а не иным было эстетическое отношеніе к дѣйствительности всѣх органических религиозных эпох. Повторяю, заданіе символизма мнѣ представляется абсолютно правильным. Его гибель или его быстрая исчерпанность зависѣли от несоотвѣтствія творческих сил титаничности замысла. Охватить в едином художественном воззрѣніи обѣ давно расторгнутыя половины міра, мір земной и мір божественный, возможно лишь полнотѣ, как религиознаго, так и жизненнаго опыта. Но символизм не имѣл ни того, ни другого. Его небо, как и его земля, были скорѣе суррогатами реальности. Религія переживалась через книгу, через призму всѣх міеологических систем человѣчества; жизнь — через публицистическое отраженіе на страницах журнала. Символизм имѣл почти гениальныя прозрѣнія и в том и в другом мірах. Но это были только вспышки, только искры, быстро гаснувшія. Живя в мірѣ воображаемом, символизм являлся новым, болѣе глубоким и в Россіи даже первым изданіем романтизма, и раздѣлил с ним его творческое безплодіе. Самая страшная язва для религиозной концепціи міра — сомнѣніе в своей внутренней правдивости — грызла его и заставляла скользить по одному из отвѣсных склонов опаснаго хребта. Выход был — либо в положительную религію, куда поэты уходили с отказом от творчества, — либо в новый реализм (акмеизм), с отказом от религиознаго преображенія дѣйствительности. Но новый реализм, как и старый, был обречен на тѣ же процессы разложенія.

Послѣднее, что оставалось искусству — дѣйствительно неиспробованное, новое и потому соблазнительное: спѣтъ осанну тому новому міру, который быстро и угрожающе созидался на развалинах міра духовнаго, міра человѣческаго и животнo-природнаго, — міру машины. Что в техническом совершенствѣ заложены возможности новой эстетики, было бы бесполезно отрицать. Машины прекрасны своей цѣленаправленностью и соотвѣтствіем своей идеѣ. Возникая яко-бы из служенія потребностям человѣка, онѣ явно отрываются от міра человѣческаго, подчиняя человѣка своим имманентным законам

(на фабрику) или уничтожая его (на войне). Прелесть идеального разрешения технических проблем лежит в основе конструктивизма, который стоит, как художественный идеал, за многими течениями современности. Конструктивизм гордится своей объективностью, окончательным преодолением психологизма, т.е. человека. Человеческий мир изгоняется из музыки, как давно уже изгнан из живописи. Поэзии все еще не удается до конца добить человека, несмотря на все усилия, положенные сознательно на это дело — в России. Но архитектурой дано строить взаправду новый мир, вполне отрешенный от потребностей и духовного строя человека. Если новое искусство мечтает стать искусством материи, то энергия замѣняет для него погибший душевно-духовный мир. Нарастание темпов и скоростей, колоссальное давление масс и тяжести, насыщенность механическими силами сообщает мнимую жизнь этому искусству мертвых реальностей. В футуризм — итальянском и русском — энергизм выступил раньше и замѣтнее, чем конструктивизм задач. Поскольку окончательное изгнание душевного невозможно, психической привкус его может быть охарактеризован, как сочетание волевой напряженности и мрачной жестокости. Эти качества его вполне соответствуют духовному складу современных коллективистических диктатур, и рѣзче всего читаются на мрачном профиле Муссолини. Обезчеловеченное и обезжизненное искусство приобретает неожиданно сатанистические черты. Когда я хожу по кварталам современного города, больше других испытываю на себе руку Корбюзье, я всегда думаю, что этот ассирийский городской пейзаж нуждается еще в одном декоративном дополнении, которое он, несомненно, получит не в очень отдаленном будущем: в тех, пока еще неизвестных, технически безупречных орудиях публичных квалифицированных казней, которые будут украшать эти перекрестки для развлечения зрителей.

IV

Искусство еще не умерло. Во всех указанных и не указанных стилях и направлениях создаются прекрасные вещи. Еще

приобщаются к дряхлеющей культуре Запада цветные расы и варварские классы (Россия), которые могут влить в ветшающие формы новую жизнь. Но все это до срока. Уже в безжалостной перспективе времени обозначилась безвыходность всех дорог. По всем направлениям мир оказывается или кажется истощенным, а человек несуществующим. Искусство не мертво, но оно становится смертоносным. Чем больше личность отдается во власть его чар, тем скорее протекает процесс его разложения. Правда, власть искусства ограничена. С огрубением цивилизации все возрастает количество людей, почти нечувствительных к соблазнам искусства. Но в жизни, которой отдают свои силы эти музонавистические активисты, царствуют те же разрушительные силы, которые приводят к гибели искусство.

Возможно ли спасение? Где оно? Для нас нет никаких колебаний. Спасение возможно, и возможно лишь на одном пути: в возвращении к религиозной первооснове жизни. Лишь омывшись в этих «летейских водах» вечной юности, человек воскреснет из праха и снова увидит в первоизданной красоте Божий мир.

Но, скажут скептики, где взять этой живой воды? Безплодны самые благоразумные советы врача, если у больного нет сил их выполнить. Веру не вернешь по приказу или по убеждению. — Это верно для личного пути, который слагается из таинственного взаимодействия ищущей свободы и благодати. Но если говорить не о личном, а о всеобщем, культурно-социальном, всемирно-историческом, то вопрос ставится иначе.

Рождение веры, как ни загадочно оно в глазах неверующего, совершается непрерывно. Процессы выветривания религии встречаются с обратным процессом ее возрождения. Еще рано подводить баланс, но уже можно сказать, что количественная убыль религии в европейском мире покрывается качественным успехом: завоеванием многих командных высот культуры. Это особенно поразительно для старой вольтерьянской Франции, где католичество, несмотря на свое меньшинственное положение в нации, является едва ли не самой мощной силой в борьбе культурных направлений. Следует поставить вопрос не

о том, как найти утраченную вѣру, а о том, как найденная вѣра может спасти культуру — скажем уже, искусство. Вѣра отнюдь не имѣет своей главной цѣлью культурное творчество; многія формы религіи его прямо отрицают. Безспорный факт религіознаго возрожденія в современном мірѣ весьма мало, если сколько-нибудь вообще, отразился на качествѣ современнаго искусства.

Здѣсь проблема огромной важности для религіознаго художника наших дней: как он может актуализировать свою вѣру в своем призваніи художника? Недавній опыт крушенія символизма, который стоял перед той же проблемой, возлагает особую отвѣтственность.

Первое, что вытекает из отрицательнаго опыта символизма — это требованіе полной искренности от художника в его дѣлѣ и в его жизни. Искренность — порою нѣчто неуловимое и даже наивное — в наши дни становится первым долгом художника (англичане, может-быть, лучше других понимают это). Никаких недомолвок, никаких только словесных, только формальных рѣшеній. Нам не нужна инфляція цѣнностей, по остроуму слову Ф. А. Степуна, гдѣ за страшными именами скрывается грошевое содержаніе. Нам нужно точное опредѣленіе религіознаго опыта и точное описаніе опыта жизненнаго, не искаженных, не раздутых предвзятостью схем, хотя бы богословски безупречных. Цѣломудріе художника не выносит подсказа, кромѣ голоса собственной музы.

Какія огромныя опасности ему придется преодолѣть, прежде чѣм его искусство воскреснет как новое христіанское искусство! В Россіи, в православіи — прежде всего соблазн нигилизма, который не признает іерархіи цѣнностей в царствѣ духа, максимализма, стремящагося сжечь всѣ книги, прежде чѣм начать молиться, ложнаго эсхатологизма, убѣжденнаго, что время для работы и для творчества уже прошло. В католичествѣ, свободном от этих искушеній, художника подстерегает опасность классицизма, легкаго возврата к старым формам, безсильным отвѣтить на потребности новой эпохи. Там же, гдѣ художник хочет быть свободным и современным — таково большинство католических писателей Франціи — его вѣра мало вдохно-

вляет его искусство. В своем творчествѣ он остается изобразителем ада, как и его невѣрующіе собратья — оставляя путь к спасенію за порогом искусства. Случается и так, что разложеніе нравственной личности и міра художника зашло так далеко, что вѣра безсильна (пока, до времени), вернуть ему разрушенный им мір. Тогда возникает опасность, что он бросится в религіозную стихію, именно как в стихію, подобно тому как другіе бросаются в природу, чтобы утонуть в ней, утопить свою ненавистную личность и ненавистный мір. — Или, идя путем послушанія, слишком скоро поставит свое искусство на служеніе вѣрѣ, сдѣлав его утилитарным, дидактическим, ремесленным. Такое религіозное искусство мало чѣм отличается от искусства коммунистическаго, при всей почтенности ремесла, работающаго на социальный заказ.

То, что единственно может лечь в основаніе новаго искусства — это новая интуиція, которая в едином взглядѣ, в едином дыханіи сможет усмотрѣть и назвать Бога, человѣка и мір. От этой интуиціи (не от вѣры) мы дѣйствительно еще очень далеки. Какая аскетическая работа художника должна подготовить эту интуицію, не нам судить. Ясно, что эта художническая аскеза не совпадает с аскезой святости, для которой данность тварнаго міра не является послѣдней цѣнностью.

Св. Тереза (Старшая) имѣла в своем опытѣ одно созерцаніе: «видѣніе міра в Богѣ». Никто из не переживших его, разумѣется, не может и представить себѣ, что оно означает. Но на ином уровнѣ, болѣе человѣческом, в не столь разрѣженном воздухѣ, это созерцаніе является основной интуиціей всякаго большаго художника.

Г. Федотов.

Оторванные

Писатели и читатели в странах диктатуры

Нам суждено жить в критическую эпоху. Какую бы сторону материальной или духовной культуры ни затронуть — мы неизменно наталкиваемся на слово «кризис». Говорят и пишут не о политикѣ, экономикѣ, философїи, искусствѣ, а о их кризисѣ. Слово это примелькалось, стало обыденным, неизбежным и привычным. Ощущение всеобъемлющего и неизбежного кризиса пропитало весь наш внутренний мир, сделалось почти подсознательной частью духовного бытия. Люди грядущих устойчивых эпох смогут оценить, в какой мѣрѣ перманентная неуверенность, вѣчная тревога, предощущение катастрофы рождали силу или слабость, героизм или моральный распад. Но кризис культуры ощущают тѣ, кому вѣтъ ея нечѣм дышать. Жизнью шумно овладевают и все уверение устраиваются в ней люди весьма поверхностно соприкасавшіеся с культурным наследием прошлого, и то лишь с материальной его стороной, и почти не знавшие его духовной сущности. Они лишены чувства потери, ибо не знают, что теряют. Не введенные в права наследства, они не могут скорбѣть и о его окудѣнии. С особой четкостью это видно в странах диктатуры, гдѣ власть создана молодыми и на них опирается. В этих странах произошла не обычная идеологическая смѣна поколѣній, когда примелькавшіяся и себя исчерпавшія воззрѣнія отцов рождали в дѣтях чувство протеста и гнали их к противоположной крайности. В Германїи нельзя найти аналогїи со временем, когда революционные ученики Фейербаха смѣнили идеалистов и романтиков: жизнью овладѣли люди не знавшие и не желавшие знать ни мышления отцов, ни их вѣры. Как завоеватели, пришедшие из невѣдомой страны, они заняли покинутый город, не инте-

ресуясь, чѣм жили населявшие его коренные жители. И в Германїи и в Россїи новые люди не стали мѣнять направление русла культурного потока. Его просто засыпали и стали рыть новые колодцы и искать новых ключей.

«Первая и основная наша задача, писал Гельмут Лангенбухер в первый год прихода к власти новых людей — это уйти от тлетворного и деструктивного искусства, так пышно расцвѣтшаго в период веймарской системы. Не эта система цѣликом повинна в разложенїи искусства. Оно началось давно и пришло к нам из чужих стран, но за послѣднее десятилетїе старческой яд его отравлял все непосредственное и живое». Здѣсь с нѣмецкой прямолинейностью выражен пореволюционный соблазн, знакомый вѣм трем странам с великими литературными традициями — Италїи, Германїи и Россїи — соблазн уйти от современного, ушербленного в своей жизненной силѣ искусства, опираясь на потребности и чутье людей, с искусством еще не соприкасавшихся и социальным катаклизмом поднятых на поверхность. Новые люди создадут новое искусство, как создают они и новую жизнь. В Россїи ждали появления «пролетарского» искусства; в Италїи — молодого, полного свѣжих соков искусства, освобожденного от драгоценных оков слишком полноцѣннаго, слишком добротнаго, давящаго и вяжущаго наследства; в Германїи исполненнаго силы, истинно народного искусства, «боевого гимна» призванной к господству чистой расы.

Восемнадцатилѣтний опыт Россїи, тринадцатилѣтний Италїи и трехлѣтний Германїи, шли разными путями. Эти пути сами по себѣ заслуживают изучения и представляют высокій интерес. Но особое значение имѣет результат опыта трех народов, безконечно отличных по культурному уровню, по психологїи, по воспрїятїю мира. И в Россїи, и в Италїи, и в Германїи опыт привел к пересѣченїю столь несхожих путей на одном и том-же результатѣ. И в этом результатѣ таится еще очень далекий, очень смутный, только зарождающийся робкий слѣд новаго свѣтлаго обѣтованїя.

Все написанное о литературѣ в странах диктатуры может быть безо всякой погрѣшности раздѣлено на двѣ равныя части:

на указанія, какой должна быть эта литература — к этому может быть сведено все, что пишется о ней на родинѣ; и к спору о том, является ли литература и поэзія, обслуживающія идеократію, подлинным искусством — по существу к этому сводится вся критика подневольной литературы в странах, гдѣ мыслимо свободное о ней высказываніе. Длительныя и кропотливыя изысканія приводят в концѣ концов к количественным критеріям: к вылавливанію отдѣльных произведеній, отдѣльных эпизодов и даже отдѣльных страниц, гдѣ сквозь нормированное, дидактическое построеніе пробивается живая дѣйствительность. На основаніи суммированія этих страниц приходят к выводу, «продолжается ли литература» или окончательно замурованы ея живые истоки. Напряженные поиски таких оазисов при страстном желаніи их найти вырождаются в концѣ концов в незаслуженно повышенную оцѣнку произведенія, если только в нем есть хотя бы осколки правдиво отражающіе новый, отсюда невидимый быт. На безнадежно тусклом фонѣ нарочитых, штампованных образов и положеній достаточно не искаженной фотографіи, чтобы признать автора заслуживающим вниманія. Эти скрупулезныя, количественныя взвѣшиванія, вызывающія вѣчно рушащіяся надежды, аналитически совершенно бесплодны и заслоняют гораздо болѣе интересную общую эволюцію приказной письменности. Молодой литературы, как подлиннаго искусства, в странах диктатуры еще нѣтъ и пока быть не может. Но эта литература не застыла неподвижно. За нее борется новый читатель, и она вынуждена преодолевать всѣ внѣшнія препятствія и видоизмѣняться — вмѣстѣ с быстрым ростом его культурнаго уровня и его исканій. Темпы нарастанія духовных потребностей «современнаго варвара» чрезвычайно ускорены, как всѣ темпы революціонной эпохи, и в страстном исканіи подлиннаго, руководствуясь для него самого неясным, но безошибочным чутьем — новый читатель инстинктивно обходит анемичныя, упадочныя, влекущіяся к образам небытія проявленія современнаго искусства.

В Италіи высокій уровень, власть традиціи в искусствѣ и мягкость форм захвата жизни новыми людьми не позволили ввести в беллетристику и поэзію правительственный заказ в

его оголенной формѣ. Там искренне и безпристрастно пытались вначалѣ уловить настроеніе молодежи и, не прибѣгая к прямому принужденію, сочетать его с задачами фашизма. Десять лѣтъ тому назад новый читатель был в орбитѣ идеи Джіованни Джентиле. Идеи эти были доведены до крайняго радикализма молодыми писателями. Основное назначеніе человѣка — всеразрѣшающее проявленіе заложенной в нем энергіи, живое кипучее дѣланіе, использованіе до предѣла cadaго мгновенія настоящаго для построенія будущаго. Должно быть рѣзко оборвано и переоцѣнено воздѣйствіе прошлаго. Память — опасный союзник человѣка-творца, способный тихо и незамѣтно парализовать его силы. Прошлое существует, если настоящее пожелает его возсоздать или удержать. Являясь объектом настоящаго, прошлое не может предписывать ему свои законы. Власть воскрешать из мертвых принадлежит настоящему, и воскресшій мертвец не может стать господином живого, его воскресившаго. Прошлое есть умершее настоящее, а трупный яд один из самых опасных. Литература и поэзія первых лѣтъ фашизма еще исполнены пафосом дискредитированія прошлаго. Облекалось это содержаніе в вычурныя формы эпигонов футуризма, но культивированье новых форм было очень скоро оставлено — новый читатель их не понимал и не принимал. Затѣм пышно расцвѣло безудержное поклоненіе вещам и техникѣ, преобразующей мір. Основная задача человѣка на землѣ организовать, «систематизировать» внѣ нас лежащій мір, для матеріальнаго устроенія жизни. И снова контакт писателя и читателя был утерян. Книги авторов-максималистов, даже не лишенных таланта, не раскупались и не читались. На верхах фашистской партіи, гдѣ очень чутко реагируют на такія явленія, перестали поощрять авторов, «оторвавшихся от массоваго читателя». К этому періоду относится новое толкованіе заданій власти в «Доктринѣ фашизма» Муссолини. «Фашизм есть, конечно, позитивное міровоззрѣніе, но одновременно оно и антипозитивно. Фашизм обязывает человѣка претворить в дѣйствіе всю без остатка заложенную в нем энергію и встрѣтить мужественно и сознательно тягчайшія препятствія. Но вмѣстѣ с тѣм фашизм воспринимает жизнь, как поединок духа и матеріи.

Высшее достоинство человека в том, чтобы из себя выработать духовное и моральное орудие для переустройства мира. Отсюда высокая оценка культуры во всех ее формах — искусства, религии, науки... Фашизм прежде всего мировоззрение чисто этическое. Всякое действие подчинено моральному контролю. Наше движение есть в конечном счете движение религиозное. Мы ставим человека в зависимость от высших этических велений, от воли вне его стоящей. Отвращаясь от интересов отдельного индивидуума, фашизм подымает его до осознания себя как члена высшей духовной общины». Слова Муссолини, истолкованные в католических кругах как кощунство, были подхвачены критиками и публицистами, придавшими им с обычным усердием расширительное толкование. Джузеппе Ренцетти писал в 1933 г., что результатом провозглашений Муссолини были «особый расцвет и особое направление искусства, что в свою очередь подняло итальянский народ на ту ступень духовного искания, когда в человеке пробуждается религиозное сознание, ибо народ без Бога, это народ без будущего». Религиозное сознание, ибо народ без Бога — это народ без будущего».

Пришлось подвергнуть изменению и оценку интеллигенции. Изображение в романах и драмах далеких от жизни, вялых и пришибленных новыми людьми интеллигентов — любимый образ приказной письменности — пришлось также изменить, дав по этой части новые директивы. Нужны разъяснения находим в речи Муссолини, произнесенной в день десятилетия фашизма. «Я презираю интеллектуализм, который противоречит интеллигенции и ей враждебен. Мне дороги интеллигент-творцы, их духовность, их безкорыстный труд и преданность своему искусству. Я хотел бы только снять с них отныне кличку «интеллигенты», заменив ее более достойным званием специалистов (Professionisti) и художников (Artisti). Еще недавно находили прямое противоречие между фашизмом и культурой. Эта антитеза правильна, если культуру разсматривать как мертвую ученость, как сумму механически накопленных познаний и навыков, без сердечного тепла и живого перевоплощения... Интеллигента для нас приемлемого не следует впредь

определять по партийному билету. Свидетельство о принадлежности к партии, не есть свидетельство о даровании. Талант есть совокупность элементов неясных и в порядке партийном неуловимых. Таланты не может выпускать ротационная машина, печатающая партийные билеты».

В Италии, как и в России, очень любят библиотечную статистику. Разница лишь в том, что в Италии она несомненно добросовестна: там очень боятся потерять ощущение действительности и способность различать истину и ложь. Библиотечная статистика является основным материалом для культурно-просветительных учреждений, следящих за настроением молодежи. Она свидетельствует, что за последние три года мало читаются авторы первых лет фашизма, упал интерес и к писателям предфашистской эпохи; в спросе больше всего романтики и классики, а также те авторы приказной письменности, которые по романтикам и классикам равняются...

В Германии издатели, авторы и читатели подчинены строжайшей, видимой и невидимой, иерархии и регламентации. Диктатура, существующая всего лишь три года, сумела создать наиболее совершенный и превосходно продуманный густой и всеобъемлющий фильтр для отбора пишущих, для сортировки тем, для испытания «на деструктивность» самых форм изложения. Германская приказная письменность самая богатая количественно и самая выдержанная в сравнении с письменностью всех других стран диктатуры. Издано множество пособий для молодежи, официальных, официозных и частных, где тщательно классифицированы не только авторы и темы, но и эмоции вызываемые прозой и стихами. В одном из таких руководств попадают следующие разделы: «произведения, отгоняющие сомнения в целесообразности трудовых лагерей» (стихи и проза), «произведения, вызывающие любовь к ландшафтам Восточной Пруссии», «лирика, оформляющая чувство благодарности к водителям» и т. п. Точно регистрируются писатели и поэты, обслуживающие господствующую идеологию: на 1-ое июля 1935 года их было 320.

Уже на втором году диктатуры выяснилось, что чем подробней и благосклонней комментируется произведение и чем

настойчивый рекомендуется, тем меньше оно читается. Ганс Ахим Плец в национал-социалистическом журнале «Литература» (1934 г.) указывает, что в руководствах правительственных и частных «отсутствуют главные критерии, по которым определяется значение художественного произведения», все сводится «к культурно-политической оценке прозы и стихов, а это не всегда достаточно». Плец после ряда основательнейших и глубокомысленных доказательств приходит к выводу, что новый, не искушенный в литературных направлениях читатель ищет в романах и стихах «особых эмоций, не всегда зависящих от благородства темы и безукоризненных намерений автора». Инстанциям, составляющим списки рекомендуемых книг, пришлось пересмотреть предреволюционных, старых и молодых, авторов по признаку их талантливости и хотя бы отдаленной близости к идеологии партии. В списки были внесены Вальтер ф. Моло, Карл Гауптман (полузабытый брат Гергарда), Вильгельм ф. Шольц (автор романа «Regretua»), Пауль Эрнст, Кольбенгейер (автор «Парацельса») Ганс Гримм и даже Герман Гессе («Даміан»), а также ряд молодых авторов, вошедших в литературу в пятилетие 1927-1932 г.г. Эта группа подавала большие надежды. Ей удалось преодолеть специфические формы немецкого экспрессионизма и тяжеловесное т. н. «документальное» направление и вполне самостоятельно, накануне революции, выразить динамические начала в стремлениях молодежи новой формации. Наиболее одаренные: Эрих Эбермайер, Оскар Граф, Петер Лампель — вносили как будто свежую струю в тусклую атмосферу предреволюционной прозы. Теперь они замолкли. Во всяком случае их нет среди поставщиков литературы приказной. «Мы должны иметь смелость констатировать, пишет обозреватель библиографического журнала, что новейшей литературой пока не удалось вполне захватить нового читателя, того, кого до сих пор приобщали к искусству кинематограф, радио и бульварный роман. Между тем политическое развитие этих людей сделало огромный шаг вперед — они пробудились к новому творчеству, они выдвинуты национальным возрождением на жизненные форпосты. Нашим писателям следует подумать об этом. Отрадно лишь убедиться,

что новый читатель остался равнодушен и к литературе послереволюционной. Он удовлетворяет свои потребности чтением классиков». Не потому ли Шиллер объявлен носителем господствующей идеологии?..

Сравнение немецкой пореволюционной литературы с русской чрезвычайно выгодно для последней. Не только потому, что русская литература знала после революции и годы расцвета. Но и самый процесс ее порабощения властью был более яростен и драматичен. То ли слишком большой запас сил таился в ней и понадобилась длительная осада и невероятное давление для ее постепенного удушения; то ли действовали здесь в совершенно ином аспекте причины, по которым Россия явилась единственной страной в Европе, где диктатура должна была завоевывать свою власть в длительной и кровавой борьбе.

Как и в Италии на самой заре революции диктатура нашла в части русской литературы сочувственный отклик. Подлинное лицо новых властителей было окутано еще дымкой романтического бунтарства, рожденного народной стихией — мотив давно родственной и близкой русской поэзии. Кроме того вначале власть в лице Луначарского объявила пролетарским искусством его упалочные формы, пришедшие с Запада. Футуризм, а несколько позже имажинизм некоторое время признавались искусством пролетарским. С легкой руки Луначарского почтительно само собой разумеющимся, что все крайнее, эпатажное в западном искусстве — является тем самым «искусством русских рабочих масс». Один Ленин проявил чувство действительности в оценке нового читателя. Высказанные им по существу элементарные положения шли тогда в разрез не только с мнением верхов партии, но противоречили настроению самих писателей и поэтов. «Чтобы искусство могло приблизиться к народу и народ к искусству мы должны сначала поднять образование и культурный уровень... Конечно, мы ведем войну с безграмотностью, разсылаем передвижные выставки и просветительные поезда. Но что это может дать многомиллионному населению, которому не достает самого элементарного знания, самой примитивнейшей культуры? В то время как в Москве сегодня или завтра по десяти тысяч человек придут в восторг

от блестящего спектакля в театре, миллионы только начинают учиться по складам писать свое имя и считать... Искусство принадлежит народу. Оно должно уходить своими глубочайшими корнями в самую толщу широких трудящихся масс. Оно должно быть понято этими массами... Почему надо преклоняться перед новым, только потому, что оно ново?..».

Теперь, на протяжении полутора десятков лет легче разглядеть борьбу течений в пореволюционной литературе к моменту ее окончательного порабощения партийными инстанциями. Традиционно-русская черноземно-бунтарская стихия, с налетом гуманитарно-народнического идеализма упрямо отставала себя от марксовского «экономического человека». Буйный мужицкий разлив, отдавший страну коммунистической партии, вдохновлял в самых разнообразных формах и «Серапионовых братьев» и «Кузницу» и бесчисленных студийцев. Вс. Иванов, Федин, Каверин, Пильняк, Тихонов, Бабель, Сейфулина, Леонов, Буданцев, Никитин и прочие — в своих пореволюционных произведениях питались бакунинским духом русской стихии. Безплотный и жесткий «экономический человек» Маркса овладел литературой значительно позже и был насильственно введен в нее партийной традицией. Эта традиция учила, что вся жизнь есть зрелище социальной борьбы. Образ «борца-рабочаго» был соткан Марксом семьдесят пять лет тому назад на основании наблюдений над английскими углекопами. В брошюрах трех поколений этот застывший, лишенный влияния времени, почти геометрический образ оставался неизменным; именно он формировал представления Сталина и к нему примыкали герои литературных произведений сменявшие друг друга «лефовцы», «напостовцы», «рапповцы» и прочие. Под маску «рабочаго-борца» насильственно и добровольно стилизовался живой человек новой России. Стилизация, достигая чудовищных, гипертрофированных форм характерна для приказной письменности первой пятилетки. Но и здесь писатели не сразу сдали свои позиции. Потаенно, под спудом, как бы вновь воскресла в русской беллетристике былая борьба Бакунина с Марксом. Почвенные люди, сочетавшие жестокость с великодушием, наивную непосредственность с упорной встрой, что «все это

кончится», придет, наконец, в муках добытое долгожданное «счастье для всех» и оправдает преступления и жертвы — медленно отснялись в бесчисленных романах предписанными героями иного типа: роботами генеральной линии, со всеми признаками боевых автоматов. Строители пятилеток не знают гнева, дружбы, любви к соратникам; они в любой момент могут направить смертоносный огонь на самых близких людей; их оружием является не только убийство — одержимые жаждой пакостничества они готовы по первому знаку облить грязью тех, кому недавно поклонялись. Их больше не занимает во имя чего все это делается: светлым будущим и путями к нему вдает «любимый вождь», остается лишь зорко следить за его указаниями и неукоснительно их выполнять. Навязанный литературе герой напоминал бы мертвую и мертвящую машину, если бы не носил некоторых живых и страшных черт окаянства и осатанелости, идущих от опричнины, розыскных приказов, тайных канцелярий и чеки.

В наши дни на русского писателя оказывается давление, какого не знает ни одна из европейских диктатур. В любой момент он может быть лишен не только права печататься, но и возможности существовать. Его развращает система выдачи крупных денежных пособий под будущия произведения и относительно высокие гонорары. Его держит в постоянном напряжении контроль литературно-партийных учреждений, следящих за изгибами генеральной линии и особенно тягостная этически узаконенная и ни в ком уже не вызывающая протеста согласительная и доносительная в собственной среде. И несмотря на все это, русская приказная письменность отмечена печатью таланта; в ней явно чувствуется глухое, еще до конца не сломленное, сопротивление изсыханию, оскудению и смерти.

Что дает ей силы цепляться за традицию былой русской литературы?.. На первый взгляд от этой традиции как будто очень мало осталось. Но объясняется это тем, что литературе пришлось приспособиться к сопротивлению, сжаться под напором враждебных сил, отбросить все, что дает врагу лишнюю мишень для обстрела и тем легче оградить самое основное и существенное. Безследно исчезла апелляция к народу, как к

последней этической инстанции, которой не были чужды ни Толстой, ни Достоевский. Поколению, вошедшему в литературу послѣ октября, такія настроенія совершенно не понятны. Исчез стимул личнаго служенія писателя народу: в огнѣ страшных испытаній без остатка сгорѣло понятіе «они», зовущее к умилению, покаянiю или праведному гнѣву.

Поиски последней истины через имморализм, вѣра в эстетическую оправданность грѣха, в какую-то правду, тающуюся за бездной зла, — давно отброшены как предвоенныя, не оправданныя страшным русским опытом побрякушки упадочнаго искусства. Даже у «суровых строителей» (в их литературно-казенном изображеніи) зло является лишь средством воздѣйствія на враждебный мір; оно конкретизировано, оголено и совершенно лишено эстетико-мистическаго ореола.

Зато сохранилось — пусть в варварски искаженном видѣ — универсальное и гуманитарное пониманіе слова «мы». «Мы» — это не римскій народ, осуществляющій задачи своего устроенія на землѣ, не избранная раса, призванная к утвержденію своего господства, а все человѣчество, идущее к братству и к подчиненію себѣ не живых людей, а только мертвой матеріи. Пусть водители обманывают, пусть они жестоки, тупы и бездарны, но какая-то часть их «темы» прочными, неразрывными нитями связана с основной традиціей русской литературы. Вот почему русская разновидность приказной письменности при всей подавленности форм — наинѣе оторвана от бьющейся в муках перед новым преображеніем — или гибелью — европейской культуры.

В Россіи вымирание и отгѣсненіе старшаго поколѣнія происходило в темпѣ несравнимом с другими странами диктатуры. Рядом с Италией и Германией, Россія наиболѣе «омоложенная» страна. И в ней с наибольшей силой сказалось явленіе, отмѣченное во всѣх странах диктатуры — тяга новаго читателя к классикам и романтикам. Не только в связи с «термидором быта», но главным образом под давленіем читателей, был провозглашен на съѣздѣ писателей в Москвѣ культ классиков. Библиотечная статистика в Россіи не заслуживает особаго до-

вѣрія, но и она свидѣтельствует, что власти прокламируют явленіе, давно вошедшее в жизнь. Можно заставить писателя по заказу писать, но гораздо труднѣе заставить читателя по заказу читать — об этом свидѣтельствует опыт всѣх без исключенія стран диктатуры. Многомилліонный новый читатель бойкотирует девять десятых произведеній приказной письменности и жадно тянется к русским классикам. На съѣздѣ пытались перекинуть мост между классиками и новѣйшей литературой. Бухарин требовал «повышенія качества», «освоенія литературнаго наслѣдства». Гладков недоумѣвал почему образы приказной письменности «не запоминаются — в них нѣтъ почему-то такого полнокровія как, скажем, в образѣ Базарова, Рудина, Платона Каратаева»... Чумандрин просил съезд разрѣшить загадку, почему Пушкин, Гоголь, Тургенев и Толстой моложе «современников, пишущих на актуальнѣйшія темы».

Критики нѣмецких зарубежных журналов потратили много сил и старанія, чтобы доказать, что молодежь, выдвинутая на авансцену послѣвоенными катастрофами, влечется к классикам: в силу «недоразвитости вкусовых потребностей», что воскресающій интерес к романтикам является одним из признаков насаждаемаго новыми варварами средневѣковья, что классики есть чтеніе для дѣтей, дающее обманное ощущеніе цѣльности жизни, и т. д. Молодежь дѣйствительно обошла искусство послѣдних десятилѣтій. То, что молодежь начинает свое литературное дѣланіе «от классиков», как и то, что и в Италиі, и в Германіи, и в Россіи она возвращается к культу любви, чистоты, к повышенной оцѣнкѣ семьи — не есть наивная романтика «варваров», повторяющих исторически неповторимое. Темпы развитія чрезвычайно ускорены. Ускорены они не только в процессах распада, но и в процессах созиданія, не только в порабощеніи, но и в борьбѣ за раскрѣпощеніе. Отрыв от литературы послѣдних десятилѣтій и бѣгство от приказной письменности свидѣтельствуют о началѣ восхожденія, а не о дрящемся паденіи, о начавшемся уходѣ «варваров» от смерти к благостным источникам жизни.

С. Савельев.

О профетической миссии

слова и мысли

(К ПОНИМАНИЮ СВОБОДЫ)

Происходивший в Париж (в августъ 1935 года) интернациональный съезд писателей наводит на печальныя мысли о социальном значеніи лжи. Я имѣю тут ввиду не сознательную лично-корыстную ложь, а ложь признанную социалью полезной в борьбѣ. Прагматическая философія учила, что истина узнается по ея полезности для жизни. Но с гораздо большим основаніем можно было бы учить о полезности для жизни лжи, о прагматическом характерѣ лжи. Истина гораздо менѣе полезна в борьбѣ, чѣм ложь. Коммунисты дѣлят мір на двѣ части, на два лагеря. Это дѣленіе, совершенно ложное с точки зрѣнія истины, оказывается очень полезным в борьбѣ. Ложь несет социалью полезную функцию. Дѣленіе на два лагеря есть дѣленіе чисто военное. Оно заинтересовано не в истинѣ, а в полезности для побѣды. Сейчас мір дѣлят на два лагеря — коммунизм и фашизм, и предлагают сдѣлать выбор. Вы обязаны быть коммунистом или фашистом, вы дѣляетесь фашистом уже тѣм самым, что вы не коммунист. Под знаком этого дѣленія в сильной степени стоял и съезд писателей. Чтобы бороться за свободу слова и культурнаго творчества против насилій фашизма, особенно фашизма нѣмецкаго, объединились с коммунистами. И, это, конечно, свидѣтельствует о политической организованности съезда, о зависимости писателей от международной политики, о прагматической полезности условной лжи. В дѣйствительности, если интересоваться чистой правдой, то нужно признать, что коммунизм и фашизм — враги, которые как двѣ капли воды похожи друг на друга. Это явленія одного порядка. Я предпочитаю коммунизм фашизму по многим причинам, но и тот и другой есть

явленіе господства масс, выдвигающих своих вождей, есть коллективизація сознания и совѣсти, отрицаніе цѣнности человеческой личности и свободы духа, абсолютизація государства. которое дѣлается тоталитарным, примат государственнаго, экономического и технического строительства над творчеством культуры, допущеніе каких угодно средств для реализаціи своих цѣлей. Сталинизм есть несомнѣнное перерожденіе коммунизма в своеобразный русскій фашизм. В сталинизмѣ свободы во всяком случаѣ не болѣе, чѣм в гитлеризмѣ, слово и мысль совершенно подавлены. Критерій истины и там и здѣсь не в личной совѣсти и сознаніи, а в коллективной совѣсти и сознаніи. И коммунизму и фашизму, как системам имперсоналистическим, противоположен персонализм, признающій верховную цѣнность всякой человеческой личности, свободу личной совѣсти, мысли и слова. Это и есть настоящее противоположеніе. И совершенно также персонализм противоположен капиталистической системѣ, превращающей человеческую личность в вещь и средство. Именно персонализм интересуется истиной по существу, хотя бы она была бесполезной и даже вредной. Даже христіанство сумѣли превратить в социалью полезную ложь. Это и есть дѣло Великаго Инквизитора. Возможно, что принятіе чистой истины христіанства не только не оказалось бы полезным для организаціи жизни в этом мірѣ, но привело бы к разрушенію и распаденію этого міра. Этой чистой истины требует персонализм, который и есть единственная послѣдовательная революція.

Совершенно ясно, что на съѣздѣ происходило непрерывное недоразумѣніе по вопросу о свободѣ. Западно-европейское пониманіе свободы, связанное с традиціями гуманизма, и совѣтско-коммунистическое пониманіе совершенно разныя вещи. Поэтому только и возможна стала такая ложь, как убѣжденіе многих французских писателей в существованіи в Совѣтской Россіи свободы творчества. Поэтому писатели всѣх стран, соединившіеся для защиты свободы творчества против насилія над словом и мыслью, не протестовали против отрицанія свободы в Совѣтской Россіи. Коммунистическая Россія есть по преимуществу страна принудительнаго, сверху организованнаго един-

ства мысли, творчества, слова, страна совершенного тоталитарного государства, претендующего владеть человеческими душами. Вопреки мнению А. Жида, коммунистическое царство теоретически и практически отрицает реальность и ценность всего частного, индивидуального, личного, для него ценно и реально лишь «общее». Все, что не общее, принудительно подавляется. Вы не можете мыслить, судить, творить в конфликте и противлении с «общим». Поэтому марксист-коммунист не способен к занятию психологией, психология исчерпывается ругательствами по адресу «классового врага». Поражает наивность и иллюзия А. Жида, который играл центральную роль на съезде. Присоединение к коммунизму А. Жида, старого гуманиста и индивидуалиста, самого асоциального из писателей Франции, есть очень значительный факт в драме переживаемой европейской культурной элитой. Я верю в искренность Жида. Мне приходилось с ним вести длинный разговор о коммунизме. Я не думаю, что Жид изменил себя. Он в своей речи на съезде продолжает называть себя индивидуалистом. Он понимает коммунизм, как организацию социальной возможности расцвета индивидуума. Как типичный француз, Жид хочет соединить Маркса с Монтенем. Все французы гуманисты, от Шарля Морраса до коммуниста Низана, от томистов до воинствующих либр-пансеров. И это как раз и затрудняет понимание русского коммунизма, который есть синтез Маркса не с Монтенем, а с Иоанном Грозным. Совершенно ясно, что Жид не приемлет тоталитарного коммунизма, целостного коммунистического мирозерцания, он берет в коммунизм то, что ему нравится. Он хочет сохранить за собой свободу творчества, свободу суждений в вопросах, не касающихся социального устройства, где он готов подчиниться коммунизму. В понятие свободы для Жида, конечно, входит право печатать свои произведения или, например, распространять Евангелие, которое он продолжает любить. Но советско-коммунистическая свобода совсем иная. Это совсем не есть свобода выбора, свобода повернуть направо и налево, свобода что угодно говорить и печатать, свобода судить по своей личной совести. Марксизм всегда по Гегелю понимал свободу, как осознанную необходимость. Коммунистическая

свобода есть свобода реализовать энергию в коллективном социальном действии, коллективно изменять жизнь, русскую и мировую, и непременно реализовать энергию и изменять жизнь в известном направлении, в связи с известным пониманием истины, с определенной доктриной. Это есть свобода под диктаторской определенной мирозерцания, из которого нельзя вынуть ни одного камня. Коммунистическая свобода не дает ни малейшей свободы тем, которые уклоняются от едино-спасающей веры, от единственной истинной доктрины, она лишает своих противников всех человеческих прав. Свобода должна служить коммунистическому государству и ортодоксальной коммунистической вере. Свобода понимается, как социальная активность. Формально это есть возврат к средневековому пониманию свободы против понимания ренессансного и гуманистического. Советская Россия по своей структуре близка к московскому православному царству. То же понимание свободы мы встречаем у национал-социалистов. Строители Третьего Рейха тоже чувствуют себя свободными. Свобода дается познавшим истину, истину коммунистическую или истину национал-социалистическую. Это есть извращение истины, возмущенной Евангелием. И это симптом конца новой истории. Литература и искусство, действительно, больше свободны в Советской России, но в отношении к мысли, философской, религиозной и социальной, существует настоящий террор. Невозможно даже малейшее уклонение от генеральной линии коммунистического мирозерцания, вырабатываемого коллективно, контролируемого центральными органами партии. Есть ли хоть малейшая свобода мысли для Троцкого или Каменева, заслуги которых перед революцией немалы? Может ли себя выразить философская мысль не материалистическая?

Мы живем в эпоху глубокого кризиса свободы. Свобода изолгалась, не исполнила своих обещаний и она агонизирует в современном мире. За современной реакцией против свободы стоят огромные движения масс, которые выступили на авансцену истории. Свобода, как ее понимали в XIX веке, свобода «либеральная» была неблагоприятна для масс, она давала привилегии меньшинству. Роковым для нашей эпохи является тот

факт, что свободу, старую формальную свободу, защищают банкиры и капиталисты, которые видят в свободѣ охрану своих привилегій. Защита же свободы интеллектуальной элитой Европы, переживающей смертельный кризис, есть защита безсодержательной, скептической свободы, которая не обоснована никакой истиной и не во имя истины утверждается. Этот кризис свободы и это двусмысленное ея положеніе очень благоприятствуют фашизму и коммунизму. Истинная свобода не есть то, что под ней понимают старый гуманизм, либерализм и индивидуализм, но не есть и то, что под ней понимают русский коммунизм и еще менѣе, конечно, фашизм. Только духовное пониманіе свободы, предполагающее в человѣкѣ элемент независимый от государства и общества, может спасти свободу. Европейские писатели, пытающіеся защитить свободу и культуру, живут в умирающем мірѣ буржуазной цивилизаціи, в котором либеральныя и индивидуалистическія идеологіи окончательно вывѣтривлись и потеряли всякую силу. По естественной реакціи против собственного міра они обращаются к вновь образуемому в Россіи міру, обнаруживающему огромную витальную силу, необычайно динамическому. Они думают, что в этом далеком и непонятном, но влекущем их мірѣ Востока раскроется новая свобода, не старая опостылѣвшая свобода, которая лишь мѣшает творческому измѣненію жизни, а свобода способная измѣнить лицо міра. Так понятны иллюзіи, которыя тут возникают, понятны иллюзіи А. Жида или А. Мальро, который ищет иного, возбуждающаго его міра то в Китаѣ, то в Россіи. Безграничная свобода слова и мысли французских писателей перестала быть цѣнностью, она перестала даже ими ощущаться. Ощущается лишь одиночество, ненужность, истощенность и пресыщенность. Утонченные французскіе писатели хотят омолодиться через прививки юной коммунистической Россіи. Мальро, который произнес самую талантливую рѣчь на съѣздѣ, склонен, повидимому понимать свободу, как согласіе с окружающей соціальной средой. Это значит, что под свободой он понимает выход из одиночества, преодоленіе сознанія своей нужности для масс и способность слиянія с ними. Такое пониманіе свободы объяснимо психологически, но оно означает

полное непониманіе того, что значит свобода. Кромѣ умирающей либеральной и индивидуалистической свободы и торжествующей коммунистической свободы есть еще вѣчная свобода и ее подобает защищать представителям слова и мысли. Это свобода пророческая и она связана с пророческой миссіей слова и мысли.

Люди слова и мысли, подлинныя дѣятели культуры, должны чураться государства, как чумы. Государство может дѣлать что-нибудь из двух — или преслѣдовать и утѣснять писателей и мыслителей, дѣлать их мучениками, или покровительствовать им, подкупать их, превращать их в своих слуг и этим деморализовать их. Идея соціального служенія литературы и искусства, как и мысли и познанія, идея, в которой я вижу большую истину, утерянную европейской элитой, ничего общаго не имѣет с исполненіем соціального заказа государственной власти. Это есть вольное, пророческое служеніе. Великая русская литература XIX вѣка была полна сознаніем долга соціального служенія. Но она была велика именно потому, что то был ея вольный пророчизм. Великая литература и великая мысль, великое творчество всегда есть не-конформизм, всегда основаны на конфликтѣ с окружающим міром. Конфликт есть источник творчества. Это есть конфликт безконечнаго с конечным. Это — вѣчная истина, это относится не только к буржуазной эпохѣ европейской цивилизаціи. Так всегда было и всегда будет. Тоталитарная система коммунизма и фашизма требует конформизма, согласованія безконечнаго с конечным, не допускает никакого конфликта. Трагическій конфликт со средой, с обществом, которое всегда есть затвердѣвающее конечное, есть вѣчная судьба творца. Такова была судьба величайших в исторіи міра. Это судьба ветхозавѣтных пророков, Сократа, Данте, Микель Анжело, Бетховена, Л. Толстого, Достоевскаго и Ибсена, Кирхегардта и Ницше. Судьба эта связана с пророческим служеніем людей слова и мысли, с притяженіем божественной безконечности. Их угнетали всѣ соціальные классы, угнетала аристократія, буржуазія и будет угнетать рабочий класс в період своей побѣды, их будет угнетать и единое без-

классовое общество, т.е. всякая организованная социальная обыденность. Надежда на то, что этого угнетения не будет в грядущем совершенном обществе, есть вместе с тем надежда на исчезновение человеческого гения. Пророческий тип вечен. Но его отрицают все современные тоталитарные государства и общества, требующие принудительного единства. Достоевский выразил вечную истину, когда он хотел взорвать все «хрустальные дворцы», все социальные утопии земного рая. Трагического конфликта не будет лишь в Царстве Божьем.

Пророк — одинок, он находится в конфликте с религиозным и социальным коллективом, с окружающей социальной средой, он преследуется и побивается камнями, и вместе с тем он глубоко социален, он обращен к судьбам общества, народа, человечества, постоянно их судит, обличает настоящее и прозревает грядущее, он проникает в тайну судьбы, которая не может быть рационализирована. Пророк слышит голос Божий, голос своей совести, он никогда не слушает голоса общества, народа, коллектива, еще менее государства. Пророчество противоположено всякому конформизму, всякому приспособлению к среде. Пророческий тип существует не только в религиозной жизни, где он отличается от типа жреца и священника и всегда противостоит религиозному коллективу, он существует и в искусстве, и в философии, и в социальном реформаторстве. В Марксе было пророческое начало, он жил в конфликте с окружающим миром. Этого начала больше нет у марксистов и коммунистов, и они хотели бы истребить его окончательно. Творец пророческого типа в сущности никогда не может быть вполне лоялен в отношении к какому-либо обществу и государству, он не принадлежит ничему конечному, он принадлежит лишь Богу, лишь истине и правде, которым его научает внутренний голос. Он в особом смысле анархист, хотя это не значит, что он непременно вбьет в анархическую утопию безгосударственного существования. Но пророк принадлежит Царству Божьему, а не царству кесаря, хотя бы оно признавалось священным. В дуализме, который всегда защищает Ж. Бенда, есть большая доля истины, хотя я бы его иначе формулировал, чем он. Дуализм этот не означает автономии ин-

теллектуальной сферы, изолированной от полноты жизни, он означает существование в человеке духовного начала, возвышающегося над социальным миром и от него не зависящего. Это духовное начало должно овладевать социальным миром, но всегда встречает страшное сопротивление царства кесаря. Жуткое одиночество культурной элиты Европы. Совсем не было пророческим одиночеством, оно, наоборот, было связано с полной потерей идеи служения, идеи призвания, оно означало, что голос свыше перестали слышать. Пророчество глубоко социален, в этом его существенный признак, и вместе с тем он противоположен всякому конформизму, он в конфликте и героической борьбе, он есть обличение того народа, которому призван служить. Пророчество революционно в глубочайшем смысле слова. Нет ничего менее революционного, чем современные деятели слова и мысли. Они по положению своему принуждены быть оппортунистами и отстаивать, как могут, крохи свободы. Нет ничего революционного в советских писателях. Нет уже ничего революционного в Сталине и его сотрудниках. Влекомый высшей силой, он способствует консолидации русского народа, выходящего из состояния хаоса. Сейчас в России та же гипертрофия государства, давящая на народ, которая была во всей русской истории. В России происходят сейчас очень элементарные процессы приобщения к цивилизации и к социальной активности огромных масс народа, которые были безграмотны, политически безправны и экономически угнетены. Это процесс положительный, но в нем нет творческой новизны. Необходимо принять социальные результаты революции и исходить из них, но трудно принять ее духовные и интеллектуальные результаты.

Возможно, что для социального перерождения мира необходимо будет пройти через диктатуры. Вряд ли можно победить скрытую диктатуру денег, безработицу, вооружения народов друг против друга путями либеральной демократии. Но интеллектуальный слой всех стран, люди слова и мысли, сохранившие в себе хоть искру пророческого духа, должны вести героическую борьбу против того, что я назвал диктатурой мирозерцания, диктатурой над духом, над словом и

мыслью, над совестью людей, бороться за свободу духа. Эта диктатура одинаково существует в фашизмѣ и в коммунизмѣ. Можно защищать и осуществлять правду социализма, защищать трудящихся, сохраняя свободу духа, независимость и достоинство слова и мысли. Сторонники диктаториального государства требуют не только признания созданного ими режима и прекращения борьбы против него, они требуют всецѣлаго отданія им человѣческих душ и совѣсти. В Россіи мало признать совѣтскій строй, мало быть коммунистом, нужно обожать Сталина, как в Германіи обожать Гитлера. Отказывающій в этом обожаніи трактуется как измѣнник. Мы переходим к эпохѣ, когда массы требуют абсолютнаго признания своих вождей. И положеніе тѣх, которые в вождях не нуждаются, очень трудное и мучительное. Их принуждают оказывать хотя бы вышніе признаки подчиненія и почитанія. Этому требуют от мысли и творчества. А. Жид хочет спастись, соединив свой индивидуализм и свою утонченную культуру прошлаго с коммунизмом. Он хочет избѣжать участи интеллектуальнаго слоя в русской революціи. Но этот коммунизм, коммунизм интегральный и тоталитарный, требующій себя абсолютной покорности, с Жидовским индивидуализмом не соединим. Это раньше или позже выяснится. А Жид в сущности хочет того, что я сам утверждаю уже ряд лѣтъ и что я называю персоналистическим социализмом. Персоналистическій социализм означает для меня созданіе безклассоваго общества и социализованнаго хозяйства, исключая возможность эксплуатаціи человѣка человѣком, но при признаніи верховной цѣнности всякой человѣческой личности, ея духовной свободы и ея права реализовать полноту своей жизни. К этому близко движеніе «Esprit». При этом тоталитарность мыслима лишь в личности, как экзистенціальном центрѣ, а не в обществѣ и не в государствѣ, которыя всегда частичны и конечны. Только в личности раскрывается безконечность. По сложным философским основаніям я употребляю выраженіе персонализм, а не индивидуализм, который скомпрометирован буржуазной эпохой новой исторіи. Конкретному эмпирическому коммунизму это не соответствует, для него верховная цѣнность не человѣкъ, а общество, не индивидуальное, а

общее, для него коллектив большая реальность, чѣм личность, для него рационализированное конечное закрывает таинственное безконечное.

Вот еще, что меня поразило в рѣчи А. Жида. До чего она французская по своему мышленію и темам и до чего трудно ее перевести на мышленіе и темы русскія! Жид противопоставляет искусственности и лжи естественность и правдивость. Он видит в русском коммунистическом мірѣ эту естественность и искренность, которыя его радуют. Он утомлен ложью и искусственностью своего собственнаго міра. Но слѣдует вспомнить Россію XIX вѣка. Вся великая русская литература была проникнута искренностью, простотой и естественностью. Это не коммунистическое, это русское. Только в началѣ XX вѣка в утонченной культурной элитѣ, связанной с символистическим течением, было чувство оторванности и изолированности, разрыв с социальным цѣлым. В XIX вѣкѣ у русских писателей было сознание долга и служенія, пророческаго служенія. Это — русское, а не специально коммунистическое. Вспомним «Что такое искусство?» Л. Толстого. Россія XIX вѣка в значительной степени стояла под знаком народническаго социализма. У нас не было настоящей буржуазіи, убѣжденной в своей правотѣ, не было буржуазной идеологіи. Русская интеллигенція, дворянская и разночинная, никогда не была буржуазной. Отвращеніе к буржуазности, к буржуазному духу есть специфическій русскій мотив. Все русское мышленіе и русское творчество XIX вѣка было проникнуто стремленіем к цѣлостности, к тоталитарности и противопоставляло ее западной разсѣченности и рационализму. Не только народники-социалисты, но и славянофилы, Толстой, Достоевскій, русская философія были проникнуты этим духом. Русская тема иная, чѣм тема западная. Это нужно понять и это плохо понимают писатели Запада, которые своеобразіе Россіи склонны приписывать исключительно коммунизму.

Николай Бердяев.

Кризис означает суд

Мир переживает кризис. Эта истина стала уже достоянием масс. Понять смысл ее — главная задача нашего времени, задача не теоретическая, а насущно-жизненная. Ведь, кризис есть не только крушение определенной идеологии, но взрыв самых основ нашей жизни. Он расшатывает государство, разрушает производство, уничтожает народное хозяйство, выбрасывает на улицу миллионы безработных, деморализует общество, грозит неслыханными бедствиями. Никто не может устраниваться от него: он врывается в семью, в частную жизнь, в личную судьбу каждого, поражает его в самое сердце, ставит вопросы, требует к ответу. Необходимо принимать как-то решительные меры, действовать немедленно — вопрос, действительно, идет о жизни и смерти.

Но прежде, чем бороться с врагом, нужно его узнать, увидеть его подлинное лицо.

Что природа кризиса не исчерпывается экономическими последствиями мировой войны, понимают теперь и экономисты. Даже материалисты твердят уже, что человечество переживает кризис моральный, духовный. Пусть под словом «духовный» они подразумевают некую расплывчатую туманность, — все же симптоматично, что homo economicus наших дней заговорил о духе.

В чем же смысл кризиса?

Мировая история подчиняется закону приливов и отливов. После огромной волны духовного творчества, нараставшей на всем протяжении Средних Веков и доплеснувшей до Возрождения, начался отлив. Со времен гуманизма духовная энергия идет на убыль, мелькает религиозная жизнь, омирщается христианство. Французская революция закрепляет в формулах своих «Прав человека и гражданина» то, что уже совершилось в человеческих душах. Деятнадцатый век заканчивает процесс дехри-

стианизации мира, лицемерно прикрываясь опустошенными формами. Двадцатый век — век изобличения и обнаружения — срывает покров и открывает подлинное антихристианское лицо мнимой «христианской культуры».

Это является неожиданностью только для тех, кто видел лишь блестящую поверхность прошлого века и не проникал в его сокровенную сущность. О том, что в европейской культуре не все благополучно, что обманчивая видимость скрывает гниение и разложение, знали все, одаренные духовным зрением. Голоса, предостерегающие, обличающие, пророческие, голоса гнева и отчаяния, звучали не умолкая. О «мерзостях запустения» и грудущем суде кричали Леон Блуа, Пэги, Ибсен, Киркегор, Достоевский, Владимир Соловьев. Но их не слышали. Они были людьми из подполья, и от них шарахались в сторону, как от безумцев. И только теперь, когда подземные взрывы на наших глазах разворачивают глубинные пласты жизни, — «подполье» выбрасывается на поверхность, а поверхность проваливается в бездну. Теперь эти пророческие голоса преследуют нас, гремят и заглушают все привычные шумы.

Если природа кризиса — духовна, то единственно возможным смыслом его может быть смысл религиозный. Начиная с эпохи гуманизма, человечество медленно, но неуклонно уходило от Бога. Это было трагическое повторение грехопадения — попытка освободиться от Бога, пожить «по своей воле»; самоутвердиться без Него и против Него. А достигнув свободы — головокружения от бездонной пустоты, — человек сам стал богом, и сам себя поклонился. Вместо Богочеловечка Иисуса Христа вознесся Человечкобог, сверхчеловек Ницше, которому «все позволено».

Страшную борьбу этих двух начал Достоевский формулировал с гениальной силой: «Произошло столкновение двух самых противоположных идей, которые только могли существовать на земле: Человечкобог встретил Богочеловечка, Аполлон Бельведерский — Христа».

Христианство учит о божественном образе в человеке и только на христианской почве мог возникнуть гуманизм. Но божественное начало в человеке обусловлено и с к л ю ч и -

теперь его связью с Богом: человек свѣтится божественным свѣтом, если на него падает луч Божественнаго Солнца. Но потушите солнце, и человек померкнет: от него остается горстка праха, кусок глины, из которой был сотворен Адам. Гуманисты залюбовались сияніем человека и, чтобы ничто не мѣшало этому любованію, потушили солнце. Они заявили, что человек — бог сам по себѣ, что он не луч, а само солнце. И как только эта новая вѣра была торжественно провозглашена, образ человека начал темнѣть и искажаться; он засвѣтился зловѣщим, демоническим мерцаніем; стал множиться и расплываться на атомы. Этот процесс разложенія души добросовѣстно запротоколирован в философіи, искусствѣ и литературѣ новаго времени. От Бальзака, через Достоевскаго и до Пруста, европейскій роман беспощадно судит безбожнаго человека.

Став Богом не по благодати, а хищеніем, человек пожелал «устроиться на землѣ без Бога». Слова о «Царствіи Божіем на землѣ» повторялись на всѣ лады людьми, которые давно в Бога не вѣрили: ибо, отрекаясь от христіанства, они не могли противопоставить его истинѣ свою истину. Истина одна и противопоставлять ей можно только ея искаженія и извращенія. Весь XIX вѣк жил в этой двусмысленности и лжи: возстав против христіанства, он, однако, питался крохами, падавшими со стола его. Стол был давно опрокинут, но крох, валявшихся на землѣ, все же хватило на то, чтобы в теченіе цѣлаго вѣка человечество не погибло от голодной смерти. Как ни затоптаны в грязь были эти крохи, христіанская с у б с т а н ц і я их была вполне очевидна. Безбожникам приходилось повторять за Христом слова о свободѣ, равенствѣ, братствѣ, о любви к ближнему, о цѣнности человеческой души, о социальной справедливости, о Царствіи Божіем, об уваженіи к личности, об автономіи совѣсти. И нѣкоторое время могло казаться, что попытка устроить земной рай, упразднивъ Бога, не безнадежна. Грандіозный расцвѣтъ матеріальной цивилизаціи как будто свидѣтельствовал об удачѣ. Человек покорил себѣ силы природы, техника становилась всесильной магіей; прогресс общал окончательно преодолѣть социальное зло; наука побѣждала страданія и собиралась побѣдить смерть; экономическое благополу-

чіе стремительно возрастало. Казалось, человечество у самой цѣли. Еще немного, и распахнутся врата земногорая. Это была эпоха позитивизма, оптимизма, Тэна, Ренана и лозунга «Enrichissez-vous».

И вдруг все сорвалось. Земной рай не удался, а удалась мировая война. И послѣ нея — кризис, т.-е., в переводѣ с греческаго, «суд».

В наши дни судится гуманизм, обличается его исконная ложь. Рушится воздвигнутое им ученіе о безбожном человекѣ.

Убив Бога, гуманизм с логической необходимостью должен был завершиться убійством человека, ибо эти понятія соотносительны и, если нѣтъ Бога, то нѣтъ и человека. Опредѣляя человека снизу — от физиологій, социологій, экономики, мы доходим до біологическаго индивида, но не можем подняться до автономной личности. Нельзя производить человека от обезьяны и в то же время требовать от него человекобожества. Гуманизм жил лицемѣріем и двусмысленностью. Рано или поздно они должны были обнаружиться.

Отвергнувъ званіе «сына Божія», человек не может долго удержаться на промежуточной позиціи «чистаго человечества». Инерція паденія неизбежно влечет его на дно. «Человек» есть лишь краткая остановка на пути от Бога к звѣрю. Эпоха гуманизма кончилась. Может начаться эпоха бестіализма. Нѣкоторые пессимисты думают, что она уже началась, что самыя страшныя предчувствія Достоевскаго осуществились, и что человечество уже превращается в безликое стадо. Нельзя отрицать, что современная коллективизація, диктатура над совѣстью, угасаніе любви к свободѣ, разнузданіе звѣриных инстинктов крови и расы — все это очень напоминает Легенду о Великом Инквизиторѣ Достоевскаго.

Но с другой стороны, в наше время столь же несомнѣнно пробужденіе духовных сил, возрожденіе христіанства и рост сопротивленія звѣрю.

Кризис-суд не только не закончился, он расширяется и углубляется с каждым днем. Человѣчество поставлено перед дилеммой — или возвратиться к Богу или превратиться в звѣря. Каждая человеческая душа должна дать отвѣтъ, сдѣлать вы-

бор, — от этого зависит ее вѣчная, метафизическая судьба.

Суд — всеобщій: вся «трепещущая тварь» предстоит перед Судіей — и Он обращается к каждому, называя его по имени, и к христіанам, и к не-христіанам, и к богоборцам и к язычникам.

Что наше время — судное, умом понимают почти всѣ. Но многіе ли прониклись сознанием всей потрясающей отвѣтственности своего положенія?

Леон Блуа писал страшныя слова о «мертвых душах»: «Ужасно подумать, что мы живем среди толпы мертвецов, которые кажутся живыми; что друг, товарищ, быть-может, брат, котораго я видѣл сегодня утром и котораго снова увижу вечером, обладает только органической жизнью, видимостью жизни, карикатурой на бытіе, и что на самом дѣлѣ он почти ничѣм не отличается от трупов, разлагающихся в своих гробах. Невыносимо думать, что я, напримѣр, мог родиться от отца и матери, которые не были живы... А между тѣм всѣ эти призраки функционируют с безукоризненной правильностью».

Да, «мертвыя души» не безумный бред фантаста Гоголя, а самая настоящая реальность.

И вот наступает день, когда всѣ эти мертвые проснутся. Тревога все шире охватывает мір, будит спящих, беспокоит любящих покой, терзает, преслѣдует, не отступает, не дает передохнуть. И долг христіан, долг простого человѣколюбія — усиливать эту тревогу, увеличивать безпокойство, призывать к бодрствованію. Спящіе должны проснуться и мертвые возстать.

Каждому в упор должен быть поставлен вопрос: что сдѣлал ты со своей душой? вѣдь, ты дашь о ней отчет Богу.

Время иллюзій, утѣшеній, духовнаго пацифизма прошло. Преступна всякая попытка сглаживать, смягчать, набрасывать покров. Необходима предѣльная острота и сила. Если человѣкъ спит в домѣ, охваченном пожаром, не приходится считаться с его сладкими сновидѣніями. Всѣ способы хороши, лишь бы его разбудить.

А мір, дѣйствительно, охвачен пожаром. Не будем же убѣждать себя, что это явленіе случайное, или временное, или мѣстное; что все уладится, если будут изданы новые декреты,

составлено другое правительство или еще раз созвана сессія Лиги Націй. Будем имѣть мужество взглянуть прямо в лицо тому, что в мірѣ происходит. И не забудем, что мы совсѣм не «высоких зрѣлищ зрители», а отвѣтственные и незамѣнимые участники в мировой драмѣ. Мір потрясен в самых своих основах. Вот почему смысл переживаемаго может быть понят только в планѣ религіознаго сознанія.

Ни наука, ни философія объяснить этого не могут. Онѣ насквозь проникнуты, вѣрнѣе отравлены идеями развитія, эволюціи, прогресса. Для них новое всегда лучше стараго и завтра совершеннѣе сегодня. Онѣ оптимистичны и идиличны. Конечный пункт, к которому привело послѣдовательное и гармоническое развитіе культуры — мировой кризис — кажется им вопіющим парадоксом. Онѣ продолжают еще дѣлать отчаянныя усилія, чтобы включить его, как необходимый момент, в свою діалектическую цѣпь. Но никто уже больше им не вѣрит.

Нужно преодолѣть в себѣ мировоззрѣніе XIX вѣка, отрѣшиться от всѣх его навыков и методов, нужно крайним напряженіем воли перестроить свою психику и увидѣть мір заново. Сознаніе эволюціонное должно смѣниться сознаніем апокалиптическим.

А это значит вернуться к христіанству.

Теорія прогресса, возникшая в XVIII вѣкѣ, является кощунственной подмѣной христіанскаго ученія о Царствіи Божіем. Философы Просвѣщенія с легкостью разстались с Богом, но не могли разстаться с мечтой о раѣ. Этот рай они хотѣли насадить здѣсь на землѣ и притом без Бога. Ученіе о падшести человѣка было замѣнено ученіем о его безгрѣшности и способности к безграничному самосовершенствованію. Дѣло Христа оказалось ненужным, так как человѣкъ спасается собственными силами. Зло случайно и преодолимо и все к лучшему. Правда, появлялись иногда пессимисты (Шопенгауэр, Гартман), но их объявляли «внѣ закона», и голоса их тонули в ликующем хорѣ.

Христіанское ученіе о судьбѣ міра прямо противоположно. Оно не эволюціонно, а катастрофично, не оптимистично, а трагично. Исторія человѣчества начинается трагедіей грѣхопа-

денія и кончается трагедіей Страшнаго Суда. Мір лежит во злѣ, и в нем идет страшная борьба между добром и злом. До времени эти начала смѣшаны: плевелы растут вмѣстѣ с пшеницей, и их нельзя вырвать, не повредив пшеницы. Ложь тѣсно сплетена с правдой, порок слит с добродѣтелью. Ко всему чистому подмѣшана грязь, и все свѣтлое отбрасывает темную тѣнь. Зло прячется под личиной добра и добро прикидывается злом. Исторія міра совѣм не есть прогрессивное накопленіе добра, систематическое преодоленіе зла в планѣ эмпирическом. Спаситель не знает, найдет ли Он вѣрующих в Него на землѣ в день Своего второго пришествія.

Исторія міра закончится ужасной катастрофой. «Возстанет народ на народ и царство на царство; и будут землетрясенія по мѣстам и будут глады и смятенія. Это — начало болѣзней... Предаст брат брата на смерть, и отец дѣтей; и возстанут дѣти на родителей и умертвят их... И будете ненавидимы всѣми за имя Мое... В тѣ дни будет такая скорбь, какъ которой не было от начала творенія, которое сотворил Бог, даже и донынѣ, и не будет. И если бы Господь не сократил тѣх дней, то, не спаслась бы никакая плоть». (Марк, XIII). Добру на землѣ не только не обѣщана побѣда, но, напротив, вся видимость пораженія. Міровой процесс приведет человечество не к земному блаженству, а к такой скорби, «какой не было от начала творенія». Гибель будет грозить всей плоти, и только по милости Господней она не вся погибнет.

Слова страшныя, перед которыми цѣпенѣет ум! И слова истинныя, уже сбывающіяся. «Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут».

Однако, при заревѣ конца міра не меркнет ли всякій смысл начала и середины?

Да и зачѣм вся міровая исторія, если она приводит к такому концу? В свѣтѣ Апокалипсиса не представляется ли она сплошным ужасом и безуміем?

Нѣтъ, потому что за скорбью послѣдних времен произойдет воскресеніе мертвых; Господь прійдет во славу, Сатана будет изгнан из міра, явятся новое небо и новая земля, и наступит Царствіе Божіе, когда Христос будет всѣм во всем.

На этом упованіи держится вся вѣра христіан, об этом мы молимся в молитвѣ Господней: «Да приндет Царствіе Твое» ,на этой надеждѣ стоят все Писаніе и всѣ пророки, без этого чаянія «суетна вѣра наша».

Другими словами, смысл исторіи — в метаисторіи. В планѣ естественной послѣдовательности, сцѣпленія причин и слѣдствій — исторія есть чудовищная бессмыслица. Ея смысл находится в ином измѣреніи бытія, в планѣ мистическом. Смысл времени лежит в вѣчности.

В эмпирической плоскости всѣ линіи исторіи ведут в дурную безконечность, упираются в жуткій бред Ницше о вѣчном повтореніи. И только Второе Пришествіе, вертикальной молніей низвергающееся с неба на землю, вонзается в эту плоскость, ставит конечную точку, спасает исторію от безумія.

Но если время поглотится вѣчностью, и Царствіе Божіе будет не органическим завершеніем исторіи, а катастрофическим ея упраздненіем, то какое значеніе имѣет вообще наше временное существованіе? К чему наши труды и дѣла, к чему наше созиданіе, если от него «не останется камня на камнѣ»? И не лучше ли нам застыть в неподвижности, скрестив руки и второя: «Ей гряди, Господи Исусе!».

В исторіи христіанства бывали моменты такого напряженія эсхатологических чаяній. Люди бросали все, продавали имущество, бѣжали в пустыню или с пальмовыми вѣтвями восходили на горы встрѣчать Грядущаго. Но это были моменты не здоровья, а болѣзни христіанскаго сознанія. Человѣческой души, расслабленной и затемненной непомѣрно трудно вмѣстить полноту христіанской истины, понять, что она иррациональна и антиномична. Разум изнемогает перед противорѣчіями, которыми питается вѣра. И только в духовном опытѣ, в мистическом ясновидѣніи открывается тайна совпаденія противоположностей. Апокалипсис отмѣняет исторію и не отмѣняет. Вѣчность упраздняет время и она же — только она — его обосновывает. Второе пришествіе наступит в день и час, которых даже ангелы не знают, и вмѣстѣ с тѣм в строго опредѣленный момент, «когда исполнятся времена и сроки».

Таким образом время и вѣчность оказываются таинственными сопряженными, между ними есть нерасторжимая связь и какое мгновение нашей жизни имѣет значеніе для вѣчности.

Міровая исторія «приготавливаетъ путь Господу» — в этом ея оправданіе.

Бесѣдуя с учениками о концѣ міра, Спаситель дает два образа — смоковницы и рождающей женщины. «От смоковницы возьмите подобіе: когда вѣтви ея становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лѣто. Так, и когда вы увидите это сбывающимся, знайте что близко, при дверях» (Марк, XIII, 28-29). «Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ея; но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человекъ в мір». (Іоанн, XVI, 21).

Міровая исторія есть не развитіе, а созрѣваніе для суда и вѣчности, не совершенствованіе, а рожденіе в муках Царствія Божія. Зерна добра и зла, лежащія в почвѣ міра, должны прорости, дать плод и достигнуть полной зрѣлости. Все что скрыто в нѣдрах, в утробѣ матери, должно в муках родиться, выйти на свѣтъ; все тайное должно стать явным. Добро и зло достигнут своего полного выраженія, опредѣленности и напряженія. Всѣ двусмысленности будут сожжены, всѣ маски падут; свѣтъ будет отдѣлен от мрака, плевелы от пшеницы. Будет правая сторона и лѣвая сторона и не будет середины.

Мір должен быть готовым для суда, который и есть не что иное, как послѣднее разсѣченіе. Смысл міровой исторіи в самоопредѣленіи добра и зла, в отдѣленіи овец от козлищ, в возрастаніи различій, в усиленіи противоположностей, в обостреніи борьбы враждующих сил.

Когда не будет больше сѣрых, а будут только бѣлые или черные, когда переведутся теплые и останутся только горячіе или холодные, тогда «вѣтви смоковницы станут мягкими и мы узнаем, что близко лѣто». Эсхатологическія настроенія нашей эпохи вырастают из реального опыта.

В наше время дѣйствительно происходит мобилизація противоборствующих сил. Христіанство выходит из «благоденственного и мирнаго житія», из этого «паралича», в котором оно

пребывало в XIX вѣкѣ. Оно внутренне крѣпнет и перевооружается. К прошлому состоянію «нейтральности» возврата больше нѣтъ. Церковь перестает быть тихою пристанью усталых сердец, приблищем для слабосильных и неприспособленных: она переходит на военное положеніе. Новыя христіанскія поколѣнія охвачены активностью, бранным духом. Постыдное пребываніе христіан «не у дѣл» кончается; под гнетом преслѣдованій они начинают вспоминать о своем званіи «воинов Христовых». Господь принес на землю огонь и скорбѣлъ о том, что этот огонь не разгорается. Дух христіанства — «огнь поядающій» и природа его — свѣтъ. Мы вступаем в эпоху новаго христіанства и вѣрим, что перед лицом Суда огонь этот вспыхнет пламенем.

Но одновременно растут и анти-христіанскія силы. Толпы христіан отрекаются от Христа, возвращаются к язычеству или проповѣдуют воинствующій атеизм. Правительства огромных стран объявляют себя безбожными. Начинаются предсказанныя в Евангеліи гоненія на вѣрующих. Возрождается исповѣдничество и мученичество. Никогда еще, кажется, не была так сильна вѣра вѣрных и безбожіе невѣрующих. Малодушные христіане ужасаются количественными успѣхами атеизма. Пусть они вспомнят, что религія не знает количества, а знает только качество, и что одна истинно увѣровавшая душа драгоцѣннѣе всего міра. Христос никогда не обѣщал нумерическаго преобладанія христіан, не сулил своим послѣдователямъ земного могущества. Но он побѣдил мір.

Если массы людей, бывших христіанами только по имени, открывают свое настоящее языческое лицо, это значит, что наступает время обличенія всякой лжи. Если государство превращало церковь в департаментъ духовныхъ дѣл и в орудіе своей земной политики, прикрываясь христіанскою вывѣскою, то это было зло, которое губило церковь и развращало государство. И теперь, когда оно становится откровенно языческимъ и богорборческимъ — и эта дождь обличается.

От всѣхъ отступничеств, отреченій и предательств истинное христіанство только крѣпнет. Недостойные христіане уже не

могут болѣе соблазнять своим лицемѣріем малых сих. Кесарь не может устраивать міровыя бойни, кощунственно призывая имя Христа, богач эксплуатировать бѣдняка, оставаясь благочестивым прихожанином своего храма.

По рассказам очевидцев в Россіи, в заброшенных деревенских церквах «обновляются» старыя иконы: почернѣвшія ризы и померкшіе, почти исчезнувшіе лики святых вдруг начинают сіять ярким серебром и свѣжими красками.

Так в наше время «обновляется» древній лик христіанства.

Если мы не все в молитвѣ призываем Царствіе Божіе, мы должны всѣми силами ускорять его пришествіе, т.-е. помогать міру выйти из состоянія смѣшенія и содѣйствовать каждой человѣческой душѣ в ея свободном самоопредѣленіи.

Этим мы не насилием чужой свободы, не навязываем своей вѣры, а, напротив, помогаем нашему ближнему вполне осознать свою свободу и отвѣтственность. Мы объясняем «нейтральным», что в духовном смыслѣ нейтралитета не существует; что есть маловѣріе и богоборчество, но нѣтъ невѣрія; что человек не может отречься от своей свободы, уклониться от выбора. Ибо воздержаніе от выбора уже есть выбор. Каждый наш шаг, каждый поступок есть рѣшеніе. Человѣческая душа так создана Богом, что она не может жить внѣ религіознаго сознанія. То, что кажется невѣріем, есть тоже вѣра, только с обратным знаком и другой устремленностью. Человеку может почудиться, что он «чужд религіи» потому, что он никогда не заглядывал в свою душу. Он может быть так поглощен суетой жизни, что в нем померкнет сознаніе свободы. Мы не станем ему говорить: «Вѣруй, как я вѣрую». Мы ему скажем: «Узнай самого себя и свободно рѣши свою вѣчную судьбу». Человек бродит впотьмах и ощупью выбирает то или другое. Большею частью его выбор случаен и бессознателен. Он не знает, во что он вѣрит и что вообще он вѣрит. Нужно показать ему христіанскую истину во всей ея чистотѣ и полнотѣ и предоставить его свободѣ — принять ее или отвергнуть.

Христос сказал: «Кто не со Мною, тот против Меня, кто не собирает со Мною, тот расточает».

Каждый должен отвѣтить: «да» или «нѣтъ», ибо все прочее — от лукаваго.

Сыны вѣра сего бывает догадливѣе сынов свѣта, и враги Христа, в ненависти своей, часто прозорливѣй учеников Его. Они знают, куда направлять удары, чтобы поразить жизненный центр христіанства. Они соблазняют людей хлѣбами, как нѣкогда Дьявол искушал Спасителя в пустынѣ. Они обѣщают земное благополучіе и могущество в обмѣн за свободу. Коммунисты в Россіи, фашисты в Германіи и Италиі осуществляют с полным успѣхом план Великаго Инквизитора: снимают с людей «непосильное бремя» свободы, поработают не только тѣла, но и души. В молодых поколѣніях сознаніе свободы слабѣет; у их дѣтей может исчезнуть самый вкус к свободѣ. Тогда не останется ни клочка земли, на которой только и может прозябнуть сѣмя евангельскаго Святеля. Вѣдь христіанство и есть свобода. «Познайте истину, говорит Господь, и она сдѣлает вас свободными». вмѣстѣ с уничтоженіем свободы, будет уничтожена и человѣческая личность, ибо без свободы нѣтъ личности, а есть лишь биологическій индивид. Только в свободѣ самоопредѣленія и выбора возникает личность.

И наконец: гибель личности означает гибель творчества: индивиды не творят, не дѣйствуют, а подчиняются и приспосабливаются. Они пассивны и безличны: слѣпо повинуются законам необходимости; вожди пасут их жезлами желѣзными.

Свобода, личность, творчество — три образа единаго Духа животворящаго. И тревога об угасаніи этого духа — не есть смутное предчувствіе будущаго, а свидѣтельство о настоящем. Наша литература, наше искусство, наша цивилизація кричат о том, что этот процесс уже начался, что он все расширяется и углубляется, что самыя ткани нашей культуры поражены этой страшной проказой.

И мы знаем, чей это Дух и кто его гасители. Мы знаем, что силам разрушенія мы можем противопоставить одно только имя — имя Христа. Ибо только в Нем оживает свобода, рождается личность и осуществляется творчество. Тлѣніем ды-

шит наша опустошенная, порабощенная, механизированная, безчеловѣчная, безжизненная жизнь. Весь мір превращается в машину, вся природа в мертвую матерію, мы сами становимся в ещ а м и . И этому разрушенію, именуемому «прогрессом», мы должны противопоставить нашу вѣру в созиданіе. Только Тот, кто «попрал смертію смерть», даст нам силы творить жизнь вѣчную. Перед лицом суда, страшным усиліем всей еще оставшейся у нас свободы мы должны выбрать путь творчества, т.-е. путь религиозный. Всѣ мы призваны к христіанскому строительству, к тому созиданію храма, о котором говорит апостол Павел. Всѣ мы участвуем в возведеніи стѣн Новаго Іерусалима, в осуществленіи Царствія, о пришествіи котораго молимся. Каждое наше творческое усиліе приближает его наступленіе. И вѣра, что оно близко, «при дверях», удесятерит наши силы. От нас зависит сократить сроки, положить предѣл морю зла и страданій, заливающему землю, приблизить мгновение, в которое «времени больше не будет».

Если мы не строим, мы разрушаем.

«Кто не собирает со Мною, тот расточает».

К. Мочульскій.

От редакціи. Давая мѣсто сильной и убѣжденной статьѣ К. В. Мочульскаго, как выражающей ту напряженность вѣры, без которой невозможно никакое христіанское дѣло, мы однако считаем должным заранѣе предупредить от возможным недоразумѣній. То эсхатологическое пониманіе христіанства, которое развивается К. В., для многих может показаться несомѣстимым с земным, конкретным строительством. В русском сознаніи слишком велик соблазн оправдывать эсхатологизмом отказ от всякаго социальнаго дѣланія. Статья К. В. не вносит достаточной ясности в его собственное отношеніе к этому жгучему вопросу христіанской социологии. Оставляя за собой право вернуться в дальнѣйшем к обсужденію этой темы — взаимоотношенія христіанской эсхатологии и социологии — мы считаем теперь же необходимым подчеркнуть: «Новый Град» стоит по-прежнему на почвѣ земной дѣйствительности. Град, в созданіи котораго мы хотим принять посильное участіе, есть земной, челоуѣческой город, котораго мы не смѣшиваем с обѣтованным Небесным Іерусалимом. Смѣшеніе двух планов было бы роковым для всякаго опыта христіанской политики и культуры. Но что земной град не есть только вавилонская башня, и что строительство его может и должно вдохновляться идеальным образом небеснаго Іерусалима, это для нас безспорно. Надѣемся, что это ясно и для наших читателей.

О кризисѣ демократіи

Кризис демократіи — факт современной европейской жизни, факт очевидный и для врагов демократіи, и для друзей. Для врагов это начало конца («туда и дорога!»); для друзей — болѣзнь роста («вот теперь то она и воспрянет!»). Можно однако раздѣлять взгляд друзей, не присоединяясь к их оптимизму. Болѣзнь роста вовсе, вѣдь, не значит болѣзнь безопасная: и болѣзни роста бывають смертельными. Сама исторія демократіи дает примѣры таких болѣзней; больше того — вызывает сомнѣніе, не существует ли в развитіи демократіи рокового предѣла, за которым само развитіе это ведет к упадку и гибели. Греческая демократія IV-го вѣка, римская демократія, двумя вѣками позднѣе, пошли к упадку послѣ блестящих побѣд свободы и прав народа и именно в силу этих побѣд — в разгар торжества самых вѣрных и преданных народу вождей (Перикл, Гракхи). Развѣ случайно конечным результатом именно этих побѣд явилось торжество абсолютных монархій Александра, діадохов и августов? Конечно, многое с тѣх пор измѣнилось. Исчезло рабство, по крайней мѣрѣ официальное; нѣтъ больше, по крайней мѣрѣ извнѣ, угрозы варварскаго нашествія; безконечно усовершенствовались приемы и средства политическаго общенія и борьбы — пути сообщенія, народное представительство, партійная жизнь, политическая печать; ликвидирована, или вот-вот будет ликвидирована, безграмотность. С другой стороны, развѣ та же исторія демократіи, — хотя бы минувшаго вѣка в Европѣ, — не дает вполнѣ убѣдительных примѣров преходящих и благотворных кризисов? Вѣрно, но... для пессимизма все же имѣются основанія. Прежде всего современный кризис гораздо ближе, по типу, к кризису демократій античнаго міра, чѣм к кризисам европейских демократій двух послѣдних столѣтій: и там (в античном мірѣ) и здѣсь (в современной Европѣ) кри-

зис возник не из столкновения партийных течений (было, конечно, и это), даже не из послѣвоенных затруднений, а из чего-то болѣе стихійнаго и кореннаго — из появления политическаго сознанія в глубоких народных массах, из прямого вмѣшательства их воли в политическія событія.

Словом «демократія» покрываются явленія крайне сложныя и разнообразныя. В послѣднем (девятом) номерѣ «Новаго Града» Г. П. Федотов дает не исчерпывающее, конечно, но вѣрное и существенное опредѣленіе демократіи, как изъявленіе воли народа, выражаемой в свободном и отвѣтственном творчествѣ коллектива, как живой и цѣлостной личности. Въ этой «мистики народа» демократія, дѣйствительно, только видимость. Только пробужденіе этой мистики, только рожденіе народа, как лица творящаго свою волю, создает демократію — не мечту или программу, а подлинный, дѣйствительный факт. Этим фактом современной дѣйствительности и создан весь кризис, подлинный, слѣдовательно, кризис роста: перед нами не усыпленіе, а пробужденіе народной воли — в этом вся суть. В свѣтѣ этого факта вскрывают свое историческое содержаніе и борящіеся на наших глазах два брата — врага — коммунизм и фашизм. В момент своего торжества и тот, и другой были фазисом развитія, своеобразным проявленіем роста демократіи. В лицѣ их родилась не новая политическая техника или тип государственнаго устройства (это важно, но преходяще, случайно): родилась, проснулась к активности, душа европейских народов. Вглядитесь: борьба идет (шла) не за побѣду партій над партіей, а за уничтоженіе всѣх, в старом значеніи слова, партій, не за смѣну вождя вождем, а за утвержденіе совершенно новаго, небывалаго доселѣ типа вождя. Ленин, Муссолини, Хитлер — как будто вожди, как вожди, Р.К.П., национал-соціалисты, фашисты — партіи, как партіи, а какую глубокую перемену в духовной жизни народа отразили они! Груба, неосмыслена была выдвинувшая их в извѣстный момент народная воля, но это была подлинная и впервые своим языком заговорившая народная воля. Были вожди, носители идейных знамен — Гладстон, Дизраэли, Жорес, сам

Бонапарт, сам Ленин наконец до октябрьских дней. И за ними шли как будто бы массы, и под их знаменами собиралась толпа, но у этих масс не было своего лица; эти вожди и знамена не были вождями и знаменами демоса — народа, идѣленнаго собственной волей. Иное дѣло «дуче», «фиорер», «Ильич». Нервная нить от них прямо тянется к массам, и сами они пахнут массой и, как массы, — враги «элиты»; т.-е. той части народа, его духовных верхов, которая доселѣ думала за него и отождествляла свои стремленія с его волей. «Ведут» и они (на то и вожди), но прежде чем повели они, самих их внизу завели и вывели кверху — «веди!». Став вождями, они почти исчезли, как личность, потеряли самое имя: во всѣх этих кличках — дуче, Ильич — есть что-то от мифа, от фольклора, от безличнаго (в индивидуальном смыслѣ) и безликаго «мы», «они»...

Назвать фашизм, а тѣм болѣе коммунизм, демократіей — слишком явная фальшь. К «мистикѣ народа» демократія, вѣдь, не сводится, хотя в ней и нуждается. Расширив и углубив понятіе демократіи, вскрывши его цѣлевое и моральное содержаніе — устремленность ко всеобщей свободѣ и к облагороженной личности человѣка — мы сразу устраним возможность сопоставленія современных «народных» и «соціалистических» государств с демократіями. И все же, в каком-то смыслѣ, хотя бы по происхожденію своему, это государства народныя. И все же, без мистики народа, без демоса, демократіи нѣтъ. И как бы уродливы и дики ни были первыя реальныя проявленія его собственной воли, в них нельзя не признать реальнаго шага к возникновенію и развитію подлинной демократіи. Перед нами ея современный (современный ли только?) трагическій парадокс: Демократія, как воля народа, губит демократію, как моральную цѣль; своею волею устраивая свою судьбу, народ уходит от идеала народной воли, как общества свободных и самостоятельных личностей; а без народа, без отвѣтственнаго вмѣшательства его в строительство жизни демократическій идеал гаснет, как реальная цѣль, оборачивается лицемѣрной и искусственной схемой.

В факт этот нужно глубоко вдуматься. При всей трагичности своей он, быть может, не так уж парадоксален. Дело идет, пока, не о столкновении внутренних сил, не об антиномии собственных начал демократии, а о расхождении примитивной, несовершенной демократии с тем, что только считалось ею, что называлось ей именем условно, лишь в силу привычки. Вся демократия довоенного времени (до французской и англо-саксонских включительно) были, в сущности, видимостью: народная воля являла себя в них случайно, под соблазном чужих разсуждений и слов; «мистика народа» существовала как внешний и отвлеченный символ. Конечно, свобода и право в современных демократиях не пустые слова, а самое подлинное и жизненное благо, всю реальность и безыскусность которого мы остро ощущаем, когда приходится, хотя бы частично, его терять (кто-то, глубоко верно, назвал свободу и право «водою жизни»). Не сама наличность этого блага в современных демократических государствах есть фикция, фикция — происхождение его от «воли народа». Не потому есть свобода и право, что народ так хотел, а наоборот: потому что народ ничего еще пока сам не хотел. Демос, народный массив, единственно подлинный субъект демократии, ни в одной демократической стране, хозяином еще не был, а если на миг становился им кое-где, то тем самым страна эта демократической уже переставала быть. В демократиях именем народа хозяйничали всегда другие (друзья); они торжественно провозглашали «неотъемлемые права» народа; они же формулировали в своих программах его интересы. Сама народная воля пробуждалась на миг лишь в совершенно исключительных случаях — при объявлении войны («всё на врага!»), под неожиданным ударом жестокого кризиса («да здравствует Рузвельт!»). И тогда она неизменно шла через голову официальных демократических учреждений — выступлением «улицы», всплеском гражданской войны, прямым давлением на власть — и всегда (что самое главное) грозила свободой. Идеализируют чартистское движение в Англии — премьер «демократически зрелого» действия масс. Легенду создал преждевременный срыв движения: чартизм, как народная рево-

люция, нес в себя всё присущие этим движениям угрозы свобод — безсовестную демагогию (один Стефенс чего стоил!), призывы к классовой мести, перспективу вооруженных восстаний. Джексоновское движение в Америке? Но современный, непосредственный и высоко-квалифицированный наблюдатель его, Токвиль, определенно называет этот период жизни американской демократии «чреватый угрозами тирании». О еще более ярком периоде прямого действия народной воли в Америке, об эпохе аболиционизма, и говорить не приходится: zenithом его была кровопролитная гражданская война, а за ней безобразия «саквоажников» (carpet-baggers), террористическая эпопея Куклукса, насильническое и корыстное навязывание победленным либеральных, как показала практика, радикально-демократических поправок к конституции. Рузвельт? Вот как будто бы исключение. Но рузвельтовское движение едва началось; подождем конца: какой ценой будет куплен его успех? к какой беде приведет неудача? Тревожные симптомы, как примирение с Коминтерном (в лице С.С.С.Р.) или как недавняя эпопея луизианского диктатора, во всяком случае, уже на лицо. Французский опыт Думерга? Думерг, разумеется, не был фашистом: этот стойкий и искренний демократ ни о каком посягательстве на свободу, ни о какой диктатуре не думал. Но какие события привели Думерга ко власти? Повторение чего боялись свергавшие его политические противники? Как демагогичны и либеральны ни были, в большинстве случаев, нападки против Думерга «во имя свободы», в них была все-таки доля правды. А чем была борьба этих присяжных анти-фашистов, социал-радикалов, с потенциальным фашистом Думергом, как не борьбой демократов с народной волей, с демократией? Думерга обвиняли, ведь, в том, что он смел по радио непосредственно обращаться к народу, что приглашал народ обсуждать законопроекты, не одобренные еще парламентом и министрами¹⁾ и,

1) «Через ваши (сенаторов и депутатов) головы он (Думерг) обращается к народу, который однако избрал вас для того, чтобы исключительно перед вами была ответственна исполнительная власть». (Из «воззвания демократических ученых и писателей к обьём палатам».)

главное, замыслил постоянный контроль народа над своими избранными (право роспуска)!

Несомненный исторический факт: до современного смутного времени все официальные победы демократии были победами демократических идей и демократических симпатий в элите, и только безотчетно, думая о своем, двигалась порой за элитой и народная масса. Моральный и интеллектуальный уровень элиты бывал чист и высок (увы, не теперь!), авторитет непоколебим, — тогда высокой, чистой, непоколебимой рисовалась в умах и сердцах наблюдателей и сама демократия. В краткой истории российской демократии ее официальный зенит, февральские дни, являет особенно яркий и для нас, русских, примечательный пример такого искреннего и естественного, в сущности, самообмана. Во истину несравненными по своей трагической красоте казались нам эти дни. Победа демократии никогда еще и нигде, думали мы, не была такою полной и такою очевидной! Увы, никогда и нигде такой глубокой и очевидной не была и пропасть между победившими демократами и законным носителем демократической власти, просыпавшимся демосом. Наверху, в элите, полный триумф. Здесь демократия — все; здесь принадлежность к элите (просвещенному классу) и преданность народной свободе — синонимы; искренними демократами становились тогда (это после стали открепиваться) и вчерашние октябристы, и титулованное дворянство, и высший командный состав, и православные иерархи, и советники просто тайные и действительно тайные. А внизу, — грозный мрак: недоверчивые взгляды, шушуканье загадочных агитаторов — медленное вынашивание своего, созривание низовой воли народа. Яркий свет демократии сверху, как в тусклое зеркало, падал и вниз: тут тоже пели про «братский союз и свободу»; отсюда тоже шли резолюции о «справедливом мире» без аннексий и контрибуций; отсюда, в результате всенародного голосования, послали в Учредительное Собрание исключительно демократов (в демократах, вѣдь, — и каких еще! — ходили тогда и большевики). Масса митинговала, кри-

чала, протестовала, приветствовала, и уже насильничала... И все же явного своего лица она еще не имѣла: лозунги, платформы, резолюции сыпались сюда готовыми сверху; их хватили по внешнему признаку — «земля», «рабочий народ»; во время выборов — или под номер («наш номер пятый»), или под условную кличку («у нас за есерей»). Это положение смутно чувствовалось сверху, но старались не видеть, опьянялись видимостью иной, желанной, народной активности; свою волю, по всеобщему безмолвному соглашению, принимали за волю народа; собственные переживания вырастали в российскую действительность — «прекрасную, готовую на гражданский подвиг»: «небывалая, — восторженно и искренно внушали себя, — безкровная! Великая демократия наша сломит германский феодализм! Свободный народ непобедим и могуч!». На почве этой иллюзии создавалось до сих пор не исчезнувшее у «ортодоксов» представление об «Октябре», как о «вне-революционном акте», «срыве Революции», «антидемократической и контрреволюционной реакции». Правда — обратное: «Октябрь» не срыв, а зенит Революции, выявление последней сути ее, как возстанія простонародной стихии (и в отдельном человекѣ, и в коллективѣ) против всех (и физических, и духовных) «господ», и вмѣстѣ рождение субъективной предпосылки демократии, демоса — вступившаго на путь ответственной, самостоятельной жизни народа. Пусть не говорят, что и октябрьские массы были темными, вслѣпую шедшими за демагогами, что и их лозунги и программы создавались «элитой», хотя и отщепенской и низкаго культурнаго уровня. Малая доля правды тут есть; остальное — иллюзия. Вождей у Октября, вождей в обычном значеніи слова, не было: были вожаки, в нужный момент растворившие свою волю в проснувшейся волѣ низов. Ленин, конечно, интеллигент и выходец из элиты, но именно выходец — вышедшій, ушедшій. В «ленинизмѣ» Октября лишь поверхность от Маркса и ученаго публициста Ульянова, нутро же его — от легендарнаго, стихіей народной воли порожденнаго «Ильича». Это им одержимый, вопил в октябрь интеллигент Ульянов — «грабь награбленное», как кликуша в

церкви вопит, одержимая бѣсом. Этот именно вопль, а не схоластическая «діалектика», сдѣлал Ленина народным вождем, а марксизм преобразовал в «ленинизм». Ленин, вождь революціи, сформировался в ея, по ея вкусу сложенных колодках. Керенскій не втиснулся в них и вслѣд за другими «буржуями» полетѣл в политическую корзину. Ленин втиснулся, и обрѣл безсмертіе революціоннаго фетиша в образѣ румяной муміи под стеклом. Мундир революціи мог слегка измѣнить покрій: вмѣсто Маркса всесоюзному распятію мог подвергнуться, на примѣр, Михайловскій. Ортодоксальные философы прѣли бы тогда в пролетарских академіях не о «переходѣ количества в качество», а о каких-нибудь «субъективных основах соціологій». Но тѣло под мундиром не могло быть иным: в измѣненной варьяціи прозвучала бы по Россіи та же пѣсня о «выпнтой кровушкѣ». «Элита» пролетарской революціи была антиинтеллигентской прежде всего: два элемента ея — «бывшіе» и «не успѣвшіе стать» — одинаково люто возненавидѣли подлинную элиту, — первые ненавистью предателей, вторые — неудачников. Окунались в Октябрь все-таки еще демократы (соціал-демократы, большевики), подмоченные, но все же еще борцы на народное «право» и «волю», а вынырнули оголтѣлые противники и свободы, и всѣх связанных с нею духовных благ, враги и антиподы элиты. Интеллигенція и взлелѣянная ею в собственном духѣ «народная воля», пали первой и вождѣннѣйшей жертвой развившейся по своей волѣ народной стихіи: выстроенное на зыбкой февральской почвѣ зданіе нашей демократіи рассыпалось сверху до низу от злобнаго вражескаго пинка. «Пролетарская диктатура» коршуном спустилась потом, уже на готовое: народ очнулся вскорѣ от революціоннаго хмѣля, в ея безстыдных когтях, над раскрытой на первой страницѣ «азбукой коммунизма». Так, в оголенной, исключительно трагической формѣ явил себя в революціонных российских условіях основной парадокс современнаго кризиса — конфликт конкретной, реально проснувшейся воли народа с «народной волей», мистически освящающей в демократіи свободу и правду.

Под интернаціональным знаменем коммунизма, под расовыми народными лозунгами фашизма, в различных формах, стилях и образах, современное броженіе европейских масс отражает какой-то единый сдвиг — рѣзкіе, истерически рѣзкіе порою, броски народной воли вперед. Рѣзкіе, они враждебны духовному стилю демократіи. Как броски, — неустойчивы, хрупки. Едва родившись и ринувшись в даль, воля разбивается в мелкія брызги и бьет назад мутной дѣной, партійной ли, личной ли, диктатуры. В искаженной, доведенной до уродливой крайности, формѣ, революція возвращает дореволюціонный порядок — воля другого («элиты»), творимая именем масс. Только новый «другой» не друг уже, а недруг народа и новая «элита» не сливки, а странная, разнородная смѣсь. За кратким пиром народной воли (октябрьскія буйства) тяжелое, длительное похмѣлье (сталинскій кнут).

Но прошедшій через соблазн «своей воли», в похмѣльи томящійся «пролетаріат», уже не прежняя дореволюціонная масса: демократія и в нем что-то пріобрѣла. Подъем культуры? Едва ли. Но от древа познанія вкушено. Освободившись от недруга (гадаем — когда и как?) массы не двинутся за самым заманчивым словом, если сами в нем чего-нибудь не отыщут; не повѣрят вѣрнѣйшему другу, если сами его до конца не поймут. «Учить народ» снова придется, но учить будет трудно. Да и кому еще будет учить? Есть ли у призваннаго учить необходимыя для учительства данныя? Прочны ли собственные его устои? Просвѣтлено ли у него «одѣяніе души»? Кризис демократіи, своей разлагающей духовную жизнь стороной, проник до мозга элиты.

Задача обученія, перевоспитанія и самовоспитанія народных масс и элиты, вѣроятно, облегчится новой формой будущей демократіи и, еще больше, новой моральной атмосферой, в которой форма эта будет слагаться. Эти новыя условія существованія демократіи могут явиться серьезной гарантіей и против возвращенія антидемократических диктатур. Старая демократія, с ея магической (и механической) «четыреххвосткой», парламентаризмом, якобинским бюрократизмом и партійной

організацією влади безвозвратно уйдет (уходит) в історію. В строені новий демократії отразятся новія качества демоса — отход от готовых программ и абстракцій, вкус к конкретному, органическому, внушающему чувство ответственности. А новая моральная атмосфера создастся в результаті реакції против современного уплощенія духа — матеріалізма, американизма, бытового позитивізма, — уставшая от котораго, живая челоуѣческая душа потребує себѣ болѣе тонкой и естественной пищи. Подобную благотворную реакцію Европа пережила уже, послѣ эпохи революціоннаго просвѣтительства, в первой половинѣ прошлаго вѣка, несравненной по напряженности духовнаго творчества. Первые проблески этой реакції, кажется, чувствуются уже (в робкой пока, порою наивной, формѣ) в современной Совѣтской Россіи.

Всѣм этим задача облегчится, но — увы! — может быть, не рѣшится. Прошлое демократіи, до новѣйших времен включительно, упорно внушает роковое сомнѣніе: да возможна ли безграничная субъективизація демоса? Не существует ли самой природой челоуѣческой положеннаго предѣла, за которым «своя воля» демоса превращается в гибельное для демократіи и челоуѣчества своеволие? Если предѣл этот существует, если корень его в челоуѣческой, несовершенной природѣ, тогда для демократіи закрыт идеальный путь, и вѣчным достиженіем ея навѣки останется то, хорошо знакомое нам и искренними иллюзіями нашими расцвѣченное, обычное положеніе, при котором несомнѣнное благо (право, свобода) почти всегда не от демократіи, а идущее несомнѣнно от демократіи (от демоса) — почти никогда не благо. Идеальный демократическій путь, о дальних эпохах котораго демократы, достойные этого имени, никогда не перестанут мечтать — демократія, не убивающая аристократизм, а всѣх и все к аристократизму, наоборот, приобщающая. Не нашей, морально одичавшей, эпохѣ мечтать о таком, единственно подлинном и радикальном, разрѣшеніи кризиса. Быть может, вопреки обычным представлениям, чудеса и не чужды історіи, но строить что-либо на ожиданіи чуда, в общественной жизни все же нельзя...

А гдѣ же, какіе, вѣчудесные выходы? «Кризис роста» сказали мы. Не рожденіе ли? Уж очень иные жесты проходящих через демократическій кризис народов похожи на жесты новорожденнаго — беспомощные, живоотно-эгоистическіе, разрушительные. «Ребенок» античных демократій умер, едва научившись ходить. Может то же случиться и с нашим. Случится, — мы, как античный мір за своей демократіей, погрузимся надолго во тьму, ибо свѣтлой дороги вѣд демократіи для европейскаго челоуѣчества уже нѣт. Не случится... — а, навѣрное (от слова «вѣрю»), не случится — «ребенок», и европейская культура с ним, будет развиваться и жить. Родителям свойственно ждать для дѣтей блестящей карьеры. Демократическая элита вѣрит в великое будущее ея идеями взлѣблянной демократіи, и вѣрить имѣет право. Но за правом — долг, работа над воспитаніем дѣтища и перевоспитаніем себя самой, долг борьбы и вѣры в демократію до конца, хотя бы вопреки вѣроятію, — сознавая, что положительных гарантій побѣды нѣт. Пока основное, рѣшающее в демократіи, — в пеленках ворочающійся демос, — загадка, тайной завѣшано и все ея грядущее.

Зримаго, уже сейчас показуемаго, выхода из современного кризиса демократіи нѣт. Болѣе отчетливо, может быть, рисуется возможность временнаго выхода — так сказать, передышка. Так можно было бы назвать временную реставрацію «стараго порядка» демократіи, т.-е. возрожденіе моральнаго авторитета элиты, простосердечно и доброжелательно узурпирующей народную волю: наружно безмолвствующій и мирно, за разныя партіи, голосующій народ; наружно увѣренныя в себѣ, в своей правдѣ и мощности партіи, юридически державное народное представительство (не непременно — старый «парламент»), законом охранныя свобода и равноправіе. Как всякая реставрація в історіи, такая реставрація демократіи была бы формальной, т.-е. — старой оболочкой прикрывала бы какое-то новое содержаніе и, как всякая реставрація, явилась бы плодом не реальной побѣды, а лишь усталости и жажды покоя — не завоеванный борьбой результат, а взаимный отказ от борьбы. Как всякій отдых послѣ трудов, перед новыми испы-

таніями, она была бы желанна, и возможность ея не исключена ни для одной из стран, прошедших, так или иначе, через демократическій опыт; не совсѣм исключена, значит, и для Россіи. Но за кратким отдыхом (если он будет) неминуема новая борьба и новыя испытанія. С ростом ребенка вернутся болѣзни, кризисы и смертельные страхи. Трагическій разлад демократіи — практики с демократіей — цѣлью с каждым шагом вперед будет, в новых и новых формах, прогрессивно расти (признак жизни, не смерти).

Давно уже сказано: «Свобода — тяжелое бремя!». Вульгарное «счастье» не удѣл того, кто сам за себя во всем отвѣчает. Так сейчас уже, когда отвѣстных так еще мало, отвѣтственность, почти исключительно, ограничена личною жизнью, а человечество, в массѣ своей, покорно внимает навѣваемым ему «безумицами» снам. Во сколько раз тяжелѣе, мучительнѣе, сложнѣе будет дѣлаться бремя, по мѣрѣ того как нести его будут всѣ, и безотвѣстных вовсе не будет!

Великое бремя возложено, под именем демократіи, на европейское человечество! С этим бременем «покая не будет»,²⁾ не будет долго, долѣе, чѣм продлится «пятидесятилѣтка» построения «Новаго Града», долго спусти послѣ построения всѣх мыслимых нынѣ градов, не будет для взбудораженного демократіей человечества никогда. Выдержит ли оно это растущее бремя? Донесет ли?.. Благо ли само оно или зло?..

Послѣдній вопрос, в разных формах, давно уже ставится лучшими из людей: «Что цѣннѣе для невѣдомых вам, но нами ведомых, путей человеческих — несчастный, пьющій смертную чашу Сократ или счастливое, смакующее пойло в корытѣ, двуногое?..».

Демократія — законом обезпеченія свобода и равенство. Демократія — самоуправленіе, политическое, общественное, хозяйственное. Да, несомнѣнно, все это демократія. Но не это вся демократія, и не это — демократія прежде всего: сверх этого и прежде всего демократія — духовно

²⁾ Ср. статью И. Бунакова в № 9 «Новаго Града».

обновленный человек, заданія новаго человечества, свободных, отвѣтственно несущих бремя жизни существ. В мѣру выполненія этого заданія, и только в мѣру его, мы приближаемся к демократіи — не иллюзіи. Виѣ его выполненія радикальнѣйшая реформа общества подлинной демократіи не несет. Что политическая демократія «формальна» — давно навязло в ушах. Слѣдует знать, что и социальная, и индустриальная демократія, какіе угодно утопіи и планы общественных строителей, вообще могут всѣ оказаться формальными, неформальное же в демократіи — только человек, преобразенный в отвѣтственную и духовно свободную личность.

Старую формулу марксизма о бытіи и сознаниіи нужно принять, в примѣненіи к демократіи, в перевернутом видѣ: Не «бытіе» (уровень формальной демократичности строя) опредѣляет «сознаніе» (уровень реальной демократичности человеческих отношеній), а «сознаніем» (внутренней освобожденностью и направленностью воли) создается культурная цѣнность и подлинно демократическій стиль социальнаго «бытія».

Ив. Херасков.

Идеи и жизнь

КРЕСТЬЯНСКАЯ ПРОБЛЕМА В СРЕДНЕЙ ЕВРОПЕ

Реорганизация сельского хозяйства в Средней Европе, происходящая на наших глазах, приобретает исключительное значение благодаря тенденции Италии, Германии и Чехословакии настолько развить свое зерновое хозяйство, чтобы при нормальном урожае впредь не нуждаться в привозе иностранного хлеба. Политика самоснабжения, проводимая немцами и чехами, в отношении большинства аграрных продуктов, дѣлает необходимым создание социально-устойчивого и экономически крепкого крестьянства, что вряд ли может быть достигнуто без государственного вмешательства и перехода болѣе зажиточных крестьян к какой-либо формѣ связаннаго землевладѣнія. С другой стороны, реорганизация Германии, Чехословакии, Австрии и Италии вызывает структурныя измѣненія в крестьянском хозяйствѣ Юго-Востока, теряющаго в годы нормальнаго урожая свой собственный сбыт зерна, и это в период коренной реконструкціи мірового хозяйства, характеризуемой небывалым ростом производительности труда и развитія аграрных суррогатов. Переворот в сельском хозяйствѣ Центральной Европы начался в 1930 году, и принял угрожающія размѣры осенью 1933 года, когда Германия и Чехословакия перестали нуждаться в импортѣ иностраннаго хлеба, а Австрія и Италия вступили на путь автаркіи в области производства зерна. Отсюда необходимость для Венгрии и балканских стран понизить зависимость своего крестьянства от мірового рынка и внести плановое начало в земледѣльческое хозяйство, в дѣлях форсирования производства тѣх продуктов, которые еще находят сбыт в промышленных странах Центральной Европы.

Планомѣрное развитіе сельского хозяйства в Германии, потреблявшей в три раза болѣе иностраннаго зерна, чѣм Австрія и Чехословакия вмѣстѣ взятыя, является одним из важнѣйших факторов, осложняющих кризис на Юго-Востокѣ Европы. К тому же побѣда расистской идеократіи в Германии, увеличившая ея империалистической напор, ускорила процесс возстановленія сельского хозяйства в Чехословакии и Австрии, и повлекла за собой ряд реформ в аграрной политикѣ, подчеркивающих значеніе плановаго начала и связанных форм землевладѣнія, что уже начинает сказываться в Венгрии и на Балка-

нах. замѣчается повсемѣстное возникновеніе новой идеологии. Стремленіе добиться самодостаточности в области производства зерна и фуража заставляет виднѣйших специалистов по вопросам аграрной политики Третьаго Рейха, в лицѣ, напримѣр, Дарре и Вилкекса, чрезвычайно высоко оцѣнивать экономическую и социальную роль крестьянина. Некрупный, но крепкій землевладѣлец, контролируемый и опекаемый государством на правах «леннаго» собственника, рисуется им в качествѣ «основнаго устоя націи» и кормильца родины. Почти то же настроеніе замѣчается в Чехословакии и Австрии, гдѣ сельское хозяйство сдѣлало за послѣдніе годы столь значительные успѣхи, что политика самоснабженія націи стала лозунгом широких масс населенія. Слѣдует отмѣтить, что нѣмецкая теорія о значеніи крестьянства в качествѣ резервуара націи, весьма распространенная на Балканах, нерѣдко замѣняется в Чехословакии идеалистическим ученіем о скромном труженикѣ на землѣ, способном поставить на мѣсто городской плутократіи мужицкую демократію в духѣ «зеленаго интернаціонала», отвергающаго, на ряду с классовой борьбой, и всякую политическую диктатуру. Идеализация крестьянства в промышленных странах Средней Европы является своего рода «идеологической надстройкой» над новыми производственными отношеніями, возникшими не только под влияніем міроваго аграрнаго кризиса, но и по причинѣ искусственной автаркизации національных хозяйств. Идеология «мужицкаго царства» в таких цивилизованных странах, как Германия, Австрія и Чехословакия, гдѣ лишь 29, 38 и 36 процентов населенія занято сельско-хозяйственным трудом, не может быть продиктована какой-либо духовной связью интеллигенціи с отсталой и пассивной деревней. В ином положеніи находятся аграрныя страны Центральной Европы, в которых крестьянство составляет около 60 процентов населенія (как в Венгрии и Польшѣ), или около 80 процентов, как в Югославии, Румынии и Болгарии. Здѣсь идеализация крестьянства освящена вѣковой традиціей, и гегемонія городов нерѣдко осуществляется государственными дѣятелями, сохранившими тѣсную связь с основной земледѣльческой массой населенія. Впрочем, и тут замѣчается разница — в зависимости от того, насколько правящій слой связан с крестьянством. Так, в Венгрии и Польшѣ, гдѣ сохраняется крупное землевладѣніе, идеализация крестьянства не встрѣчает такого отклика в научном мірѣ, как это имѣет мѣсто на Балканах. В частности в Югославии вѣра в «геоцентрической закон» физиократов является отличительной чертой лучших трудов по вопросам аграрной политики. Стоит, напримѣр, взять извѣстные труды хорватских экономистов Отто Франгеша и Милана Ившича, чтобы в этом убѣдиться. Так Ившич пишет: «Экономически сильное и физически здоровое крестьянство образует основное ядро любой націи; новую свѣжую кровь можно найти только в деревнѣ; внѣ крестьянской культуры не существует

городской цивилизации; только крестьянство поставляет здоровых новобранцев и сдерживает революционные движения». Так же думает и Франгеш: «Крестьянство явится решающим фактом при будущей территориальной и духовной реорганизации современной Европы. Крестьянин, как стержень нации, служит вечным источником материальных и духовных ценностей, выражая национальную сущность народа». 1)

Все же было бы ошибочно полагать, что в научном мире Югославии и других стран Средней Европы имеется единодушие по вопросу о социальном значении крестьянства. В частности в Германии оспаривается существование особой самобытной крестьянской культуры, не затронутой национальной культурой, сложившейся в городах под влиянием обще-европейской цивилизации. В этом отношении показательно расхождение во взглядах крупнейших идеологов Третьего Рейха Освальда Шпенглера и Карла Шмитта. В одной из недавних своих работ Шпенглер пишет: «Крестьянин независим от культуры, которая гнѣздится в городах; он никогда не мѣняется, бессознательно воспроизводя свой тип и сохраняя свои навыки и свою связь с землей. Душа земледѣльца мистична, но разум его сух и практичен. Крестьянство является источником нации, хотя и лишено творческой силы и политического влияния на горожан». В отличие от Шпенглера, отрицающего духовную связь между городом и деревней и вѣрящего в «вѣчный тип» крестьянина, К. Шмитт пытается разрушить «мне о вѣчном мужикѣ» и настаивает на городском происхождении культуры и цивилизации. Правда, он признает наличие особой «крестьянской культуры», но подчеркивает ее производный характер и рассматривает историю деревни как вѣковой процесс консервирования городских навыков. 2) Нам думается, что различное толкование социальной природы и исторической роли крестьянства, наблюдаемое в научной литературе Германии и Югославии, объясняется двойственным характером нѣмецкого и балканского крестьянина, сочетающего жажду городских технических знаний с глубоким внутренним отталкиванием от современных форм цивилизации. Земледѣлец как бы остается «вѣчным мужиком» и даже влияет на национальную культуру города, но постепенно попадает в водоворот технического прогресса и утрачивает свои навыки и свою материальную независимость. Знарок южнославянского, нѣмецкого экономиста Вирзинг, характеризует описываемый нами процесс слѣдующими словами: «В Юго-Восточной Европе замѣчается столкновение крестьянства с техникой. От результата этого столкновения зависит будущее Балкан. Если крестьянство не най-

1) См. Otto von Franges, *Das Problem des Bauern in Europa*. Reale Academia d'Italia. 1933; M. Ivisic, *Les Problèmes agraires en Yougoslavie*. Paris. 1926.

2) См. Schmitt, Karl, *Der Mythos vom ewigen Bauern*. Europäische Revue. 1929. S. 517 ff.

дет новых юридических и экономических форм общегития, дающих ему возможность освоить технику, то балканская деревня станет жертвой социального нивелирования и серьезных политических потрясений. Вряд ли можно сомнѣваться, что зависимость крестьянства от свободных рыночных отношений капиталистического хозяйства не даст ему возможности освоить технической прогресс и вызовет ряд тяжелых послѣдствий, наблюдаемых на Западе, в виде распада патриархальной семьи, разрушения семейной общины, пролетаризации мелких землевладельцев, бѣгства от земли и проч. 3)

Разрушение почти натурального крестьянского хозяйства в Центральной Европе и прежде всего на Балканах совпало с развитием мирового аграрного кризиса, вызванного небывалым ростом производительности труда в сельском хозяйстве Америки, Канады, Аргентины и Австралии. В течение 1927-1933 г.г. не только увеличивалось количество зерна, производимого на прежде разработанных участках земли, но и непрерывно росла посѣвная площадь во всех странах, экспортирующих зерно, в частности пшеницу. Одновременно повсюду наблюдалось накопление больших стоков сельско-хозяйственных продуктов, не находивших сбыта даже в период высокой конъюнктуры до наступления мирового кризиса; лишь неурожай 1934 года нѣсколько разгрузил мировые склады зерна, не мѣняя, впрочем, общей ситуации, вызванной машинизацией и химизацией сельского хозяйства. 4) Вѣдь этих общих причин положение крестьянства в Центральной Европе было подорвано сильным измельчанием его хозяйства и крайней задолженностью, вызванной отчасти бурным притоком свободных капиталов в сельское хозяйство Германии, Австрии и аграрных стран Юго-Востока. В частности на Балканах переход крестьянства от почти натурального хозяйства к денежному сопровождался земельной спекуляцией и ростом задолженности, не имѣвшей прямого отношения к финансированию производственного процесса. Быстрое повышение товарности крестьянского хозяйства в Чехословакии, Польше и на Балканах, наблюдаемое с 1919 года, объясняется выходом крестьянского зерна на мировой рынок вследствие разрушения крупного земледѣния рядом аграрных реформ, возникавших стихийно под влиянием крестьянских восстаний (как это было в Румынии и Болгарии), или проводившихся сознательно государством (как это имѣло мѣсто в Югославии и Чехословакии). Уничтожение «земельного голода» и предоставление крестьянам возможности производить пшеницу и кукурузу на мировой рынок, в результате аграрных реформ, могли бы имѣть

3) См. Giselher Wirsing, *Zwischeneuropa und die deutsche Zukunft*. Diederichs Verlag. Jena. 1932; Derselbe, *Der Standort des Bauern*. Tat. April 1930. S. 30 ff.

4) См. V. Timoschenko, *World agriculture and the depression*. Michigan Business Studies. 1933.

болѣе положительное значеніе, если бы законодатель проявил болѣе осторожность и не давал себя увлечь соображеніями націоналистическаго характера. К сожалѣнію, значительная часть помѣщичьей земли досталась различным элементам, не имѣвшим ни малѣйшаго представленія о работѣ в сельском хозяйствѣ. Так многіе военные инвалиды, добровольцы и вдовы, получив от государства землю даром или за безцѣнок, охотно продавали ее по высокой цѣнѣ крестьянам или попадали в руки спекулятивных земельных обществ. Было также много случаев, когда спекулянты входили в сношенія с государственными распределительными органами или скупали за безцѣнок секвестрованные помѣстья земельных магнатов. Вовлеченіе крестьянства в земельную спекуляцію сопровождалось в большинствѣ стран стихійным увеличеніем мелкаго крестьянскаго землевладѣнія с помощью ростовщическаго капитала. Приток здоровых инвестиций в сельское хозяйство Польши, Чехословакіи и балканских стран нерѣдко задерживался вслѣдствіе многочисленных аграрных реформ, не доводимых до конца или мѣнявшихся в процессѣ проведенія. Тот же самый процесс земельной спекуляціи и «кредитной лихорадки» замѣчался наканунѣ міроваго кризиса в Германіи, Австріи и Венгріи, гдѣ не было послѣ войны успѣшной ликвидаціи крупнаго землевладѣнія. Но все же нездоровая задолженность крестьянства происходила в этих странах не столько в силу неустойчивости юридических форм землевладѣнія, облегчавшей приток ростовщическаго капитала в деревню, сколько по причинѣ большого интереса, проявленнаго иностранцами к финансированію національных хозяйств Средней Европы. В частности в Германіи, в которой сельское хозяйство освободилось от ипотеки в період инфляціи, приток иностранных капиталов создал в теченіе 5-6 лѣтъ новую задолженность до 10 миллиардов золотых марок. Нельзя также забывать, что положеніе крестьянскаго хозяйства в Центральной Европѣ было ухудшено ростом государственных расходов, вызванных отчасти широким субсидированіем частнаго хозяйства за счет мелких налогоплательщиков. По подсчетам, хотя-бы и нѣсколько спорным, сдѣланным расистским экономистом Дарра, нѣмецкій крестьянин отдавал государству в формѣ налогов до 2/3 своего дохода и послѣднюю треть терял в пользу своих личных кредиторов. Согласно официальной австрійской статистикѣ убыточность лѣсного хозяйства еще в 1934 году составляла 12 шиллингов на гектар, а горнаго крестьянскаго хозяйства даже 40 шиллингов; главная причина убыточности усматривалась при этом в высотѣ федеральных и коммунальных налогов. К тому-же переход крестьянства от натурального хозяйства к денежному, сопровождавшійся — как мы видѣли — небывалым ростом земельной спекуляціи, нездоровой задолженности и налогового бремени, совпал с міровым аграрным кризисом, вызванным технической революціей в сельском хозяйствѣ заморских стран,

вывозящих зерно в Европу, и возстановленіем зерноваго хозяйства в Германіи, Чехословакіи, Италіи и Австріи, являвшихся важнѣйшими потребителями венгерскаго и балканскаго зерна. Паденіе на 60 процентов общаго уровня цѣн на аграрном рынкѣ создало несостоятельность средне-европейскаго крестьянина, связаннаго с міровым рынком, но лишенаго возможности приостановить уплату налогов и процентов по частным займам. Как же реагировало государство в отдѣльных странах Центральной Европы на катастрофическое положеніе крестьянскаго хозяйства?

Прежде чѣм государство рѣшилось прибѣгнуть к радикальным мѣрам послѣдняго времени, оно стало бороться с измельчаніем частнаго землевладѣнія и задолженностью крестьянства рядом палліативов в видѣ частичнаго возстановленія латифундій (как это было в Польшѣ и Румыніи) и удешевленія земельного кредита созданіем специальных кредитных учреждений (как это имѣло мѣсто в Югославіи). Вскорѣ этих мѣр оказалось недостаточно, ибо новыя крупныя помѣстья не были в состояніи поглотить значительную часть деревенскаго пролетаріата, давившаго на обѣднѣвшее крестьянство, вслѣдствіе сокращенія экспорта и высоких накладных расходов, а пониженіе процентов по ипотечным займам неизбѣжно отставало от безпрерывнаго катастрофическаго паденія цѣн на зерно и сырье внутри и внѣ предѣлов національнаго хозяйства. Борьба государства с аграрным кризисом становилась тѣм болѣе трудной, что общественное мнѣніе не поддерживало активнаго вмѣшательства власти в сельское хозяйство и сочувствовало превращенію мелкаго и задолженнаго земледѣльца в настоящаго капиталистическаго предпринимателя на американскій образец. При этом не учитывалось, что консервативный крестьянин Центральной Европы не был подготовлен к роли фермера-раціоналиста и не сумѣл правильно использовать даже предшествовавшій період хозяйственнаго подъема. Вѣдь, не слѣдует забывать, что нѣмецкій, чешскій, польскій и балканскій земледѣлец, сохранившій со своей землей и собственностью нѣкую «биологически-растительную» связь, пока еще не отдает себѣ отчета в необходимости правильной калькуляціи себѣстоимости и не понимает, что расширение и интенсификація производственнаго процесса в сельском хозяйствѣ подчиняются ряду естественных законов. В період высокой конъюнктуры до наступленія міроваго кризиса крестьянин Центральной Европы расширял с помощью заемнаго капитала производство зерна в полном забвеніи непреложнаго факта, что всякая послѣдующая затрата капитала и труда становится менѣе продуктивной и рост продукціи влечет за собой сверхпропорціональное паденіе цѣн. Как только государство ощутило необходимость изъять крестьянское хозяйство из болѣе или менѣе свободной игры товарно-денежных сил и отношеній, оно не побоялось приступить к установленію минималь-

ных цѣн на зерно, к созданию частичной монополіи внѣшней торговли и к принудительному регулированию крестьянской задолженности. Государственное вмѣшательство в сельское хозяйство приняло радикальныя и разнообразныя формы, но было нерѣдко лишено продуманности и плана. Еще в 1930 году, когда цѣна на зерно стала рѣзко понижаться и сербскій крестьянин оказался непомѣрно задолженным; правительство Югославіи ввело государственную монополію на вывоз пшеницы и ржи, не взирая на убыточность для государства закупки зерна внѣ всяких контингентов. В результатѣ создано искусственное повышение цѣн на зерно внутри страны, и крестьянин Югославіи стал сбывать свои продукты за счет мѣстнаго налогоплательщика, не считаясь с катастрофическим паденіем цѣн на мировом рынкѣ. Впослѣдствіи этой мѣры оказалось недостаточно, и государству пришлось объявить мораторій по крестьянским долгам. Приблизительно на тот же путь встали и другія страны Центральной Европы. Так Венгрія, Румынія и Болгарія вмѣнили государству в обязанность субвенціонировать и контролировать вывоз зерна; Польша пошла еще нѣсколько дальше, предоставив государству право контролировать вывоз всей сельско-хозяйственной продукции; Чехословакія ввела хлѣбную монополію, а в Германіи государство планирует, а отчасти, сосредоточивает в своих руках импорт аграрных продуктов. Широкое развитіе экспортных премій и радикальных мѣр, ограничивающих ввоз иностранных сельско-хозяйственных продуктов, наблюдается в Польшѣ и Чехословакіи. Ввозныя пошлины на аграрные продукты получили за послѣднее время небывалое развитіе. В качествѣ примѣра достаточно указать, что пошлинная ставка на двойной центнер пшеницы поднялась в Германіи с 7,5 марок в 1930 году до 35 марок в 1934 году; за тот же період аграрныя пошлины Австріи и Италіи по меньшей мѣрѣ удвоились. Мораторій по крестьянским долгам, принудительное пониженіе процентной ставки по ипотекам и разсрочку налогов примѣняют Венгрія, Румынія и Болгарія. Германія пошла еще дальше остальных промышленных стран Центральной Европы, не только уменьшая налоговое бремя и запрещая принудительную ликвидацию задолженных крестьянских дворов, но и введя государственное контингентированіе ежегоднаго производства пшеницы и ржи, чтобы обезпечить крестьянину достаточный сбыт и справедливую цѣну. Все же нельзя отрицать, что всѣ эти формы государственнаго вмѣшательства в сельское хозяйство имѣют временный и случайный характер. Защита крестьянства частичной монополіей внѣшней торговли, государственным контролем над производством зерна и субсидіями наблюдалась в послѣднее время и в таких странах, как Норвегія, Швеція, Голландія и Швейцарія, в которых сельское хозяйство не переживает столь рѣзких структурных измѣненій, как в промышленных и аграрных государствах Средней Европы, явля-

ющихся важнѣйшими производителями и потребителями европейскаго зерна и текстильнаго сырья. Субсидированіе сельскаго хозяйства прямыми или косвенным путем, обременяющее крестьянина в качествѣ налогоплательщика, не может продолжаться до безконечности. Даже столь радикальная мѣра, как прямое планированіе производства в сельском хозяйствѣ, может дать положительныя результаты лишь в случаѣ созданія крупнаго крестьянства, не зависящаго всецѣло от товарнаго рынка.

Характерно, что крестьянство Центральной Европы уже давно ощутило необходимость перехода к каким-либо новым юридическим и экономическим формам общежитія, которыя дали бы возможность сохранить «сакральный» характер земельной собственности и освоить технической прогресс, не прибѣгая к радикальной ломкѣ деревенских навыков и патриархальнаго быта семьи. Переход от почти натурального хозяйства к денежному, сопровождавшійся измелечаніем крестьянскаго хозяйства, его пролетаризацией и задолженностью, не мог не вызвать психологическаго отталкиванія деревни от капитализма и матеріализма. С другой стороны, разочарованіе в совѣтском коллективизмѣ и боязнь классовой борьбы, неизбежно приводящей к диктатурѣ города над деревней, создали в Центральной Европѣ большое крестьянское движеніе, направленное против марксизма и интегральнаго этатизма.

Еще задоолго до мирового кризиса и реформ Вальтера Даррэ в Германіи, оказавших большое вліяніе на настроеніе австрійской, венгерской и балканской деревни, многочисленныя крестьянскія партіи Средней Европы стекались под знамя «Зеленаго Интернаціонала», имѣющаго свое постоянное бюро в Прагѣ. Первоначально это движеніе, отрицавшее марксизм и капитализм, имѣло своей основной цѣлью активную борьбу с совѣтской пропагандой болгарских и хорватских аграрных лидеров, примкнувших к красному крестьянскому блоку в Москвѣ. Одновременно чешскіе руководители «Международнаго Аграрнаго Бюро» в Прагѣ стремились использовать это движеніе в интересах «неоанславизма», проповѣдывающаго отрыв западнаго и южнаго славянства от марксистской Россіи и его политическое и экономическое объединеніе на основѣ крестьянской демократіи. Быстрые успѣхи «Зеленаго Интернаціонала» и включеніе в его состав крестьянских партій большинства европейских стран покончили с панславянской идеологіей и превратили Аграрное Бюро в Прагѣ, руководимое крестьянскими лидерами Малой Антанты, в организационный центр крестьянскаго движенія, направленнаго против марксизма и либерализма в интересах крестьянской демократіи и кооперации. Все же нельзя отрицать, что «Зеленый Интернаціонал» является отчасти случайным объединеніем многочисленных крестьянских партій, имѣющих различныя положительныя программы и совпадающих лишь в одном

— в отрицании. Даже центральная идея крестьянской демократии различно понимается чехами и немцами, в особенности после аграрных реформ в фашистской Германии и корпоративной Австрии. К тому же некоторые балканские партии и в частности сербский Союз Земледельцев, впадают в радикализм, проповедуя национализацию крупной промышленности и банков. Если все же можно говорить о некотором влиянии «Зеленого Интернационала» в Чехословакии и на Балканах, то это объясняется частым слиянием аппарата крестьянских партий с аппаратом мощной кредитной кооперации.⁵⁾ После аграрных реформ в Третьем Рейхе, плановых мероприятий в Венгрии и сильного падения экспортных операций аграрных стран, замечается некоторое разочарование в основных целях «Зеленого Интернационала». Ведь, события последних лет показали, что кооперация, облегчающая положение мелкого земледельца, работающего на рынок, не могла предохранить его от пролетаризации, ибо не обеспечивала ему достаточного сбыта при сохранении его нездоровой зависимости от товарного рынка. Да и идея реконструкции Средней Европы на основе крестьянской демократии утратила свою популярность со времени ускорения темпа индустриализации аграрных стран, вынужденных перерабатывать свое сырье, потерявшее рентабельный сбыт за границей. Крестьянство в Центральной Европе начинает приходить к выводу, что кооперация даст большие положительные результаты лишь в том случае, если она не помешает возрождению связанных форм землевладения и ограничится рационализацией и удешевлением сбыта излишних продуктов крестьянского хозяйства, неизбежно восстанавливающего свой патриархальный и как-бы натуральный характер.

Еще задолго до аграрных реформ в Третьем Рейхе и корпоративной Австрии, многие авторитетные экономисты Центральной Европы (в том числе Отмар Шпани и Милан Ившич) ратовали за принудительное восстановление наследственных крестьянских ферм, семейных общин и сельскохозяйственных цехов. Можно предполагать, что сохранение крупных наследственных ферм и «задруг», не зависящих от случайного спроса на товарном рынке и лишенных капиталистического стимула к рентабельности, предохранило бы крестьянство Средней Европы от земельной спекуляции, кредитной лихорадки и перепроизводства последнего времени. К сожалению, законодатель не решился поддержать старые связанные формы землевладения в том виде, в каком они исторически сложились в Германии и на Балканах. Наследственные формы в виде крестьянских майоратов и миноратов сохранились после войны только в Австрии, Чехословакии, в северной и восточной Германии и, отчасти, в западной Польше. Но эти круп-

⁵⁾ См. Otto von Franges, Die grüne Internationale. Wien. 1931.

ные наследственные фермы обременялись ипотеками в пользу братьев владельца, злоупотребляли заемным капиталом и всецело зависели от постоянного колебания рыночных цен. Только в Германии, начиная с сентября 1933 года, имеет место принудительное превращение крестьянских дворов, владеющих от 8 до 125 гектаров земли, в наследственные фермы в их более совершенной форме крупных хозяйств, не имеющих права продавать свое недвижимое имущество и обращаться к заемному капиталу без разрешения особого суда, не обремененных ипотеками в пользу семьи собственника и предохраненных государственными контингентами от перепроизводства и пролетаризации. Чтобы помешать превращению наследственных ферм в простое «кулацкое» хозяйство, расистский законодатель не только затрудняет получение заемных капиталов, но и предоставляет право местному крестьянскому «вождю» отстранить собственника от владения его фермой в случае, если «майоратный суд», учрежденный при обыкновенном суде и состоящий отчасти из крестьян, признает его неспособным служить продовольственным интересам нации. Даже больше того, всякий крестьянин может лишиться своей собственности в пользу законного наследника, если это предпишет «имперский крестьянский вождь» по соглашению с местным майоратным судом. Для финансирования наследственных ферм, отрезанных законом от рынка частных капиталов, предполагается создание особых государственных кредитных учреждений.⁶⁾ Положение семьи крестьянина облегчается предоставлением младшим сыновьям дешевого земельного надела из фонда государственных земель в районах внутренней колонизации и обязанностью крестьянина содержать любого члена своей семьи за счет движимого имущества. Все-же наследственные фермы Третьего Рейха имели бы несколько «реакционный» характер, если-бы закон не предоставил право братьям и сестрам фермера требовать через майоратный суд убожества и работы на ферме в случае невозможности получить заработок на стороне. Это постановление облегчает эволюцию наследственных ферм в сторону «семейных общин», в которых власть главы семьи ограничивается государством в качестве арбитра. По данным официальной статистики сейчас уже имеется в Германии миллион наследственных ферм, отвечающих аграрной программе национал-социализма и обрабатывающих более половины всей посевной площади. Одновременно фонд свободных земельных участков, представляемый государством, увеличился в восточных провинциях Рейха вследствие пожертвования помещиками 50.000 гектаров земли. Есть много оснований предполагать, что новое аграрное законодательство Германии не пройдет незамеченными в Австрии и Венгрии, где уже

⁶⁾ См. мою статью: «Германский национал-социализм» («Новый Град», № 8) и Saure, W., Das Reichserbhofgesetz. Berlin. 1934.

давно наблюдается повышенный интерес к возрождению крестьянских майоратов. С другой стороны, стремление к связанным формам крестьянского хозяйства в таких странах, как Югославия, Болгария и Румыния, в которых семейная община освящена вѣковой традицией, приведет, по всей вѣроятности, к принудительному восстановлению задруги и других форм семейной общины, продолжающих владеть жалкое существование в нѣкоторых районах Хорватии, Боснии, Македонии, западной Болгарии и восточной Румынии. В частности в Югославии идет большой спор о размѣрѣ полномочий, которые слѣдует предоставить главѣ принудительной задруги. Экономисты, сочувствующие авторитарному строю, рекомендуют надѣлить главу задруги неограниченной властью и образовать при нем совѣщательный орган из совершеннолѣтних мужчин и вдов. Напротив, сторонники трудовой демократии, руководимые хорватским ученым (католическим священником) Миланом Ивничем, не только не соглашаются на назначение главы семейной общины его предшественником, но и намѣреваются предоставить семейному совѣту право смѣстить выборного главу в случаѣ единоличного распоряженія общей собственностью семейного коллектива. В какой бы формѣ ни была восстановлена семейная община на Балканах, вряд ли подлежит сомнѣнію, что патриархальный строй, трудовая дисциплина, почти полное отсутствіе принципа рентабельности и запрещеніе продажи родовой недвижимости предохранят балканское крестьянство от пролетаризации и моральнаго разложения. В случаѣ кооперативнаго объединенія ряда задруг и других форм семейной общины, вся та часть крестьянскаго хозяйства балканских стран, которая окажется «укрупненной» вслѣдствіе семейнаго коллективизма, получит реальную возможность освоить техническій прогресс, разрушающій слабое хозяйство крестьян-единоличников.

Коллективизация крестьянских дворов на семейной основѣ еще не даст полной возможности государству планомерно воздѣйствовать на сельское хозяйство, лишенное характера органическаго цѣлага. Ютсюда — стремление создать принудительную корпорацию сельскаго хозяйства, в которой всѣ землевладѣльцы, арендаторы и сельские рабочие нашли-бы не только орган объединенія и профессиональнаго представительства, но и орган оптимальнаго регулированія их хозяйственной дѣятельности. Аграрная конституція корпоративной Австріи, направленная главным образом на преодоленіе классовою борьбу, а не на регулированіе сельско-хозяйственной продукціи, игнорировала предварительное укрупненіе крестьянских дворов — что, однако, мѣшает корпорации проявлять свою функцию монопольнаго принудительнаго картеля. Закрытіе профессіи и установленіе членских контингентов внутри корпорации сдѣлают, по всей вѣроятности, необходимым сліяніе многочисленных маломощных хозяйств. За то в расистской Германіи замѣчается радикальное планированіе почти всей сель-

ско-хозяйственной продукціи усилиями корпоративной іерархіи, управляемой агентами идеократіи. Аграрная корпорация Третьаго Рейха, объединяющая не только прямых земледѣльцев, но и отрасли промышленности и торговли, имѣющая отношеніе к сельскому хозяйству, контингентует производство, ликвидирует лишнія производственныя единицы, ограничивает заработок посредников, указывает каналы торговли, предписывает твердыя цѣны и контролирует импорт аграрных продуктов.

Разрѣшеніе крестьянской проблемы в промышленных странах Центральной Европы не представит особой трудности, если государство понудит зажиточных крестьян перейти к какой-либо формѣ связаннаго землевладѣнія и обеспечит их при любой конъюнктурѣ дешевым государственным кредитом и минимальным сбытом продуктов по справедливой цѣнѣ в предѣлах, устанавливаемых ежегодным распоряженіем о контингентах. Продетаризация мелких крестьянских дворов может быть приостановлена в періоды депрессіи принудительным переходом обѣдѣвшей части крестьянства к натуральному хозяйству, обеспеченному субсидіями государства в случаѣ многосемейности крестьянина и стихійных бѣдствій. Не избѣжать промышленным странам Центральной Европы и нѣкоторой «плановости» при опредѣленіи характера посѣвов. Уже и сейчас Германія и Чехословакия начинают планировать производство аграрных продуктов, запрещая домашнее производство нѣкоторых родов сырья и фуража, импортируемых в обмен на издѣлія отечественной промышленности, чтобы не повредила вывозу своих фабрикатов на Юго-Восток Европы. Почти так же ставится крестьянская проблема в Венгрии и на Балканах. Повидимому, и здѣсь государство будет вынуждено прибѣгнуть к принудительному восстановленію связанных форм землевладѣнія при укрупненіи крестьянских дворов и к планированію производства важнѣйших аграрных продуктов, чтобы ослабить зависимость крестьянства от рынка и измѣнить характер его производства в строгом соответствіи с реальными возможностями экспорта в промышленныя страны Центральной Европы. В частности в Венгрии уже и сейчас наблюдается сознательное вмѣшательство государства в порядок посѣвов в цѣлях форсированія производства льна и конопли, имѣющих сбыт в Германіи, за счет производства пшеницы, теряющей свой рынок в главнѣйших странах, потребляющих привозное зерно. Впрочем Венгрия и Балканы могут найти и иной выход из создаваемаго положенія. Для них пока еще нѣтъ прямой необходимости прибѣгать к коренной реконструкціи сельскаго хозяйства, если приток иностраннаго капитала дает возможность встать на путь широкой индустриализации, увеличивающей внутренней спрос на аграрные продукты и рабочія руки. При всей легкости такого выхода вряд ли можно ожидать, что аграрныя страны Юго-Востока будут стремиться к

оптимальной автаркии. Вѣдь, в условиях современного технического прогресса; облегчающего быстрый темп индустриализации, производство фабрикатов скоро перерастет покупательную силу национального хозяйства, и это в момент индустриализации большинства стран и общего перепроизводства промышленных издѣлій. Правда, индустриализованныя Балканы могли бы рассчитывать на нѣкоторый сбыт своих фабрикатов на рынках Малой Азии и Африки, но постепенное завоевание Месопотамии, Аравии, Египта и Марокко японской промышленностью кладет конец легендѣ о неограниченных возможностях европейскаго капиталистическаго империализма. Можно было бы, наконец, искать выхода в объединении балканских держав в самодовлѣющую «Восточную Имперію, о чем так интересно пишет Франгеш, 7) но и тут отказ Болгарии и Албании примкнуть к «Балканской Антантѣ», и слабое развитие торговых сношеній между Югославией, Румынией и Турціей, составляющих лишь 1 процент их торговаго оборота, дѣлают подобное разрѣшеніе проблемы трудно осуществимым. Значит, фактически остается только первый выход: обязательное пониженіе товарности мелких крестьянских дворов, принудительное возстановленіе крупных семейных общин и государственное планирование производства аграрных продуктов в строгом соответствии со встрѣчным планом промышленных стран Центральной Европы. Иными словами, производство зерна, теряющаго рынок, нуждается в замѣнѣ производством текстильнаго сырья и сои, пока еще имѣющих достаточный сбыт в Германіи, Австріи и Италіи. 8) Статистика не оставляет никакого сомнѣнія в том, что крестьянство Венгрии и Балкан, живущее экспортом зерна, нуждается в радикальных рѣшеніях. В самом дѣлѣ, еще в 1930 году промышленныя страны Центральной Европы и Италія нуждались в импортѣ 3,65 миллионів метр. тонн пшеницы; 1,73 милл. метр. тонн ячменя и 1,83 милл. метр. тонн кукурузы. Этому значительному спросу на привозное зерно (главным образом со стороны Германіи и Италіи) противостояли весьма скромныя излишки Юго-Востока Европы, состоявшіе из 0,96 миллионів метр. тонн пшеницы, 1,53 милл. метр. тонн ячменя и 1,96 милл. метр. тонн кукурузы. Иными словами, Венгрия и Балканы были в состояніи покрыть только 31 процент ввозимой в Италію и Германію пшеницы. В 1933 году положеніе рѣзко измѣнилось. Аграрныя страны Юго-Востока, Чехословакия и Польша, произвели 129 миллионів метр. центнеров пшеницы вмѣсто 89 миллионів в предшествующем году, в то время как Германія и Италія прекратили импорт иностраннаго зерна. Больше того, Третій Рейх сам стал вывозить пшеницу и ячмень, допуская ввоз бал-

7) См. Otto von Franges, Die wirtschaftlichen Beziehungen Jugoslawiens. «Weltwirtschaftliches Archiv». Januar. 1933.

8) См. Gisela Wirsing, Deutschland in der Weltpolitik. Eugen Diederichs Verlag. Jena. 1933.

канской пшеницы лишь в том случаѣ, если он покрывался встрѣчным вывозом ржи и пшеницы. Италія допускала только 1 процент иностранной пшеницы при выпечкѣ бѣлаго хлѣба. Чехословакия и Франція совѣм прекратили импорт иностранной пшеницы. Голландія и Швейцарія строжайше контролировали ввоз зерна и ограничивали его до минимума. В импортѣ югославянскон ржи чехи больше не нуждались, а ячмень даже сами начинали экспортировать. Единственным значительным потребителем венгерскаго и балканскаго зерна оставалась Австрія, но и она стала на путь національнаго самоснабженія. 9) К тому же емкость австрійскаго рынка никогда не превышала 0,5 миллионів метр. тонн зерна — что не выдерживает сравненія с прежним спросом Германіи и Италіи. В началѣ 1934 года спрос на иностранное зерно со стороны Австріи стал еще слабѣе, ибо от 35 до 40 процентов ея потребности уже покрывалось національной продукціей.

Повсемѣстный неурожай в 1934 г. нѣсколько облегчил положеніе аграрных стран Средней Европы, но не измѣнил общей постановки проблемы. По данным официальной статистики ожидается, что Германія обойдется в 1935 году без импорта ржи и пшеницы, а Италія и Австрія покроют національной продукціей от 40 до 50 процентов своей потребности в пшеницѣ. В случаѣ же новаго значительнаго урожая и отсутствія «военной конъюнктуры», положеніе, создавшееся в 1933 году, повторится с прямой неизбежностью.

Говоря о принудительном ограниченіи товарности крестьянскаго хозяйства, мы имѣем в виду не какую-либо стационарную систему, но напротив систему подвижную, дающую государству (или корпоративной іерархіи) возможность регулировать сельско-хозяйственное производство в зависимости от конъюнктуры и торговых соглашеній с иностранными державами. Так, напримѣр, Венгрия может сейчас повысить производство зерна (даже в случаѣ повсемѣстнаго урожая) вслѣдствіе значительных ввозных контингентов, предоставленных ей авторитарными правительствами Германіи, Италіи и Австріи. Не исключена также возможность, что спрос на аграрные продукты юго-восточной Европы поднимется, если намѣтится хозяйственный подъем под влияніем недавняго неурожая и общей военной конъюнктуры. Нѣсколько стимулирующее дѣйствіе может оказать также постепенное вытѣсненіе тропических растительных масел продуктами животноводства. Но всѣ эти «шансы» настолько условны, что зависимость крестьянства от рынка вишняго и внутренняго должна быть ослаблена. При этом регулирование сельскаго хозяйства со стороны государства (или корпоративной іерархіи) окажется дѣйствительным лишь в том

9) См. Elemer Hantos, Die Agrarüberschüsse der Donauländer. «Donau-Europa». № 9. Wien. 1933; Anton Steden, Der Agrarmarkt in Europa. Agrarverlag. Wien. 1933.

случаѣ, если оно будет касаться излишков почти самодостаточнаго хозяйства, мало зависящаго от случайнаго пониженія на рынкѣ.

Укрупненіе и оптимальная «натурализація» крестьянскаго хозяйства возможны и на чисто «регионально-производственной» основѣ в формѣ совѣтских колхозов — но это означало-бы (по крайней мѣрѣ для Средней Европы) ликвидацію крестьянства как самобытной социальной группы и его превращеніе в пролетариат *sui generis*. Принудительное кооперированіе крупных и мелких крестьянских дворов на «производственной основѣ», т. е. в духѣ опредѣленнаго производственнаго плана, означало-бы углубленіе социальной дифференціаціи в деревнѣ и ея санкціонированіе со стороны государства. Лишь принудительныя семейныя общины отвѣчают идеалам современнаго «народничества».

Б. Ижболдин.

НА ПУТЯХ К НОВОМУ ГРАДУ

В старину то, что соответствует нынѣшним газетным и журнальным политическим обзорѣніям, звалось «*theatrum europaeum*». Тогдашніе хроникеры не догадывались, какой глубокой смысл имѣло это слово. Европа тогда была подлинным театром, поприщем, на котором разыгрывалась трагедія, являющаяся по своей природѣ ничѣм иным, как борьбою воплощенных сущностей. Всѣ участники того дѣйствія, которое мы называем исторіей, всѣ люди, всѣ их объединенія, всѣ учрежденія были воплощеніями, каждое, какой-либо опредѣленной идеи, и не было ни одной «чистой», отвлеченной идеи, т. е. уже не идеи, а понятія, — но каждая идея жила в своем воплощеніи. Эта борьба идей-сил, идей-конкретных величин, была страшно-напряженной, страшно-жестокой, — как это и подобает трагедіи, изобиловала всякаго рода ужасами не в меньшей степени, нежели трагедіи Шекспира; но, как у Шекспира, «страшное» всегда символизировало трагическое, имѣло глубокой внутренней смысл: ибо здѣсь — и в этом была сущность жизненной трагедіи, что сближает ее со средневѣковым литургическим дѣйством, — никто не играл з кого-то и для кого-то, то всѣ были в буквальном смыслѣ актерами (дѣятелями) и личина, которую носил каждый, была непосредственным выраженіем его собственной конкретной личности. Церковь, государство, цари, народы, воины, ремесленники, земледѣльцы, всѣ одинаково были такими персонами — в двойном, первоначальном и производном значеніи этого слова (маска — личность), — как в театральных дѣйствах, гдѣ в списках «дѣйствующих лицъ» (*dramatis personae*) значились: Италия,

Флоренція, Мир, Герцог Савойскій, Вѣстник, Народ и т. д. Нам сейчас эти олицетворенія «абстрактных величин» кажутся холодными и нивными аллегоріями — именно потому, что эти величины мы воспринимаем как «абстрактныя»; но когда Данте обращался с инвективами к Флоренціи, когда он восклицал: *Ahi, serva Italia!*.. в его сознаніи онѣ жили, как люди. И обратно: до Локка, Руссо, Бенгата и их учеников никто не мог-бы понять: что такое «хозяйствующій» человекъ», «голосующій человекъ», тѣм болѣе — «внутренній человекъ» в отличіе от «внѣшняго», или «человекъ» в отличіе от «гражданина», и как это вообще можно разрѣзать «просто человекъ» на кусочки, и надѣлать эти кусочки какими-то особыми, каждому отдѣльно приличествующими функциями, наконец; думать, что за вычетом всѣх этих кусочков еще остается какой-то «просто человекъ», «человекъ вообще». Он не мог-бы понять того, что нам кажется само собою разумеющимся — до такой степени мы свыклись с этим: как из взаимодѣйствія этих человѣческих аспектов, этих сегментов «человекъ вообще» может складываться настоящая государственная, хозяйственная, религіозная семейная и всякая иная жизнь, как это вообще возможно мыслить хозяйственную жизнь отдѣльной от государственной, семейной, религіозной, и религіозную жизнь отдѣльно от государственной, хозяйственной — и т. д., и т. д. Он увидѣл бы то, чего современный человекъ — и в этом, вѣроятно, самая характерная черта нашего времени — не видит, не может видѣть, ибо он создал себѣ особый орган воспріятія всего даннаго ему, орган, особенность котораго состоит как раз в том, что всякое воспріятіе подмѣняется «объясненіем», — а именно: что сейчас нѣтъ болѣе ни государственной, ни религіозной, ни «національной», ни хозяйственной жизни, а сплошная игра в жизнь; что мір сейчас стал театром уже в ином значеніи этого слова, театром, гдѣ лицедѣи притворяются кѣм-то, — и этот театр он возненавидѣл-бы так, как Кулин и Бунин ненавидят театр актеров. И пусть не говорят, что «человекъ» в противопоставленіи «гражданину», homo oeconomicus в противопоставленіи homo religiosus, «внутренній человекъ» в противопоставленіи «внѣшнему» и т. д. это лишь социологическія, этическія, и всякія иныя категоріи, значущія только в наукѣ, а вовсе не и в жизни. В том-то и ужас нашего времени, что чисто-теоретическое разграниченіе отдѣльных жизненных сфер и соответствующих им аспектов «человекъ» выражает собою реальное — и это вовсе не по «причинѣ» все возрастающей специализаціи, несовпаденія темпов развитія этих сфер («объяснять» так значит повторять ошибку науковѣрцев, для которых сферы культуры — нѣчто вродѣ органических видов, имѣющих, каждый, собственную «эволюцію»), но потому что современный человекъ дѣйствительно распался на множество сегментов, что его духовная жизнь — если только в таком случаѣ можно говорить о жизни, в

том и состоит, что, подчинив свое сознание все «объясняющей», путем расчленения и классифицирования, «точной» наукѣ, он только и дѣлает, что сам от себя отвлекает свои аспекты, благодаря чему он и оказывается в состоянии выступать поочередно в любых ролях и на любых сценах или «планах» жизни, не являясь ни на одном из них самим собою. Отдѣлаться от навыков все-объясняющего науковѣрія, увидѣть призрачность міра, в котором мы живем, — для этого требуется чрезвычайное духовное напряжение. Стоит сдѣлать его, — и человек испытывает то самое, что испытывает проснувшийся послѣ тяжелого сна: ему незачѣм разсуждать, проверять себя, разувѣрять себя; всѣм своим существом он чувствует, что всѣ гдѣ нелѣпости, несуразности, которая произошла с ним во снѣ, не были реальностью, что все это не было настоящей жизнью — и он уже не может понять, как мог он жить в этом мірѣ и вѣрить в его подлинность. И первое, что он поймет тогда, что составит его незыблемое и окончательное убѣждение, которого не надо обосновывать, доказывать, как не надо зрячему и бодрствующему человеку доказывать, когда свѣтит солнце, что оно свѣтит, но которого он никак не сможет внушить тому, кто еще спит, — это, что всѣ ночные кошмары, наводнения, нелѣпости, продукт разрыва его сознания с жизнью, плод его собственного воображения. Равным образом пробуждение от летаргіи науковѣрія сопровождается, у современнаго человека, открытіем, что то, что мы зовем современным кризисом, коренится, как всякій кризис, в человецѣ, а не в каких-то якобы самостоятельных, «объективных» условиях. «La crise est dans l'homme» — таково заглавіе вышедшей недавно книги Thierry Maulnier, одного из немногих в наши дни проснувшихся. В 1934 году им-же вмѣстѣ с еще двумя проснувшимися, Robert Francis и Jean-Pierre Maxence, выпущена книга Demain la France. Что в ней особенно цѣнно — это ея страстность, искренность усилий, которая авторы употребляют, чтобы растолкать спящих, заставить их открыть глаза, прозрѣть, увидѣть всю бессмысленность противорѣчій современности, не имѣющих ничего общаго с диалектическими противорѣчьями гегелевской становящейся Идеи, в которых она раскрывает всю свою полноту, все богатство своего содержания, проходя через которыя она постепенно просвѣтляется, уточняется, воплощается в жизненных формах. Но можно-ли серьезно говорить об идеѣ Наций, когда нарастаніе поистинѣ звѣринаго национализма сочетается со стремленіем стран, народов, классов, людей обезличиться, «быть как всѣ», или-же с готовностью отречься от своих значительнѣйших духовных цѣнностей ради соблюденія идиотскаго принципа «чистоты крови»? Можно-ли серьезно говорить об идеѣ Демократіи, когда, во имя неприкосновенности принципа народнаго суверенитета, проваливается проект, открывающій возможность в конституціонном порядкѣ провернуть, чего хочет народ? Это проти-

ворѣчія уже иного порядка: их возможность обусловлена тѣм, что идеи подмѣнены их словесными выраженіями, стершимися до того, что они уже лишены всякаго содержания, всякаго смысла, в силу чего их столкновение носят не трагическій, но комическій характер, т.-е. жизнь скидывается своей собственной пародіей, какова, в своем существѣ, всякая комедія. Но как добиться того, чтобы вернуть жизни ея смысл, чтобы в человеческом сознаниі вербальныя формулы вновь наполнились содержаніем, зашевелились, раскрылись, расцвѣли? Чтобы абстрактный «индивидуум» стал конкретной человеческой личностью? Здѣсь мысль авторов движется в двух плоскостях. Обрѣсти себя, ощутить себя конкретной личностью, значит — настолько слиться с тѣми жизненными сферами, в которых человек дѣйствует, чтобы каждая из них порознь и всѣ вмѣстѣ воспринимались сознанием как тоже конкретныя личности. Это требует двух условий: общественной реформы и перерождения человеческого сознания (нечего, впрочем, и говорить, что эти условия соотносительны). Отдѣльныя жизненныя сферы должны быть органически связаны одна с другою. Общее направление современной реформаторской мысли настолько извѣстно, что, может быть, незачѣм и предупреждать читателя о том, что авторы развивают учение о корпоративном строѣ общества и государства. Но как раз эта сторона их доктрины вызывает на возраженія. Легко выдвинуть, напримѣр, — как это дѣлают они, — значеніе «областничества» (регионализма) для возрожденія идеи отечества. Но чего можно было бы добиться в этом направленіи сейчас, когда вымирают диалекты, фольклор, когда повсюду идет неизбежная в нынѣшних условиях нивелировка быта? «Областничество» Мориса Барреса стоит не больше, чѣм католичество Шатобріана, — принятая, может быть, и с наилучшими намѣреніями, но все-таки поза. Или еще — разсужденія авторов о собственности. Собственность это не только дом, деньги в банкѣ, одежда, которая на мнѣ: по существу, моею собственностью является все, что есть мое Я — мой талант, моя профессія, — и никто не смѣет лишить меня права быть, в этом смыслѣ, самим собою. Осуществить же так понятое право собственности можно только в корпоративном строѣ. Корпорации принадлежат рѣшить, кто я таков: дѣйствительно-ли собственник той профессіи, которая объединяет ея сочленов, или-же самозванец. В первом случаѣ я обезпечен, так как корпорация и Я, член ея, мы образуем одну личность. Это разсужденіе показывает, как силна утопическій элемент в теоріи «новаго средневѣковья», не считающійся достаточно с законом необратимости исторіи. Новая эра в исторіи культуры наступила с того момента, когда Микель-Анджело объявил, что он не принадлежит к цеху скульпторов, что он не держит «мастерской» и запретил в письмах к нему звать его «мастером». Если бы нобелевская литературная премія присуждалась цехом беллетристов, то И. А.

Бунин не получил бы ее. Здѣсь авторы впадают в самопротиворѣчіе: они призывают к Революціи, которая возродила-бы подлинную жизнь, — и словно забывают, что жизнь есть всегда трагедія, а не идиллія. Геній творческой личности и ее профессія, т.е. ее исповѣданіе, — ее собственность. Да, но в том смыслѣ, как понимал это Пушкин, — трагическом, а не идиллическом. Этой собственности, в отличіе от дома, ренты, платья, обуви, никто отнять у меня не может — ни легально, ни нелегально. Но с другой стороны, трудно вообразить себѣ, каким законом могло бы быть мнѣ обезпечено право извлекать из нея выгоду, — гораздо труднѣе, чѣм придумать такое общественное устройство, которое обезпечивало бы за мною возможность пользоваться принадлежащими мнѣ вещами.

Этим, впрочем, вопрос не исчерпывается. Проклятіе нашего времени в том, что, на каких бы попріцах ни дѣйствовал человек, он сам настолько привык ощущать себя абстрактным «индивидуумом», случайным центром отдѣльных, обособленных функций, что у него уже нѣтъ сознанія своей связи с «Le Grand Etre», с человечеством, как единым цѣлым в пространствѣ и времени, и нѣтъ сознанія своей отвѣтственности перед ним. С этой точки зрѣнія исключительно важное значеніе приобретает проблема воспитанія, — и то, что об этом говорят авторы «Demain la France», есть, на мой взгляд, самая цѣнная часть их книги. Самая цѣнная потому, что обычно *Wetterverbesserer*'ы нашего времени обходят эту проблему — черта особо показательная для нынѣшняго культурнаго кризиса, служащая доказательством, что люди, берущіеся лечить нашу культуру от ее болѣзней, сами страдают ее основной болѣзью: отвлеченностью, нежизненностью, вербализмом. Всѣ теоретики культуры, всѣ ее реформаторы, в тѣ времена, когда люди еще жили полной жизнью, — греки и римляне, мыслители Средневѣковья, Лютер, Раблэ, Эразм, Томас Мор, дѣятели Просвѣщенія, основоположники либерализма и социализма, ставили вопросы школы, вопросы воспитанія на первый план. В наше время эти вопросы считаются «сухими», «черезчур специальными», в концѣ концов просто — второстепенными, не заслуживающими вниманія и во всяком случаѣ не имѣющими никакого отношенія к «большим» вопросам общественности и культуры. А между тѣм современная школа — один из самых гнилых плодов современнаго вербализма, современнаго науковѣрія, современной отвлеченности, и вмѣстѣ один из самых вліятельных факторов современнаго духовнаго и социальнаго кризиса. Эта нынѣшняя школа, в которой все, что было добыто цѣною величайших творческих усилий, величайших жертв, страданій, бореній, энтузіазма, преподносится отпрепарированным, прожеванным, в таком видѣ, что усвоеніе всего этого не требует уже никаких усилий, никакой работы ума, никакой провѣрки, ни-

какой способности сочувствовать, сострадать, сорадоваться, эта школа, подмѣнившая, идя по пути наименьшаго сопротивленія, знаніе — свѣдѣніями, вещи — формулами, Пушкина — Саводником, все обезцвѣчивающая, обезличивающая, стерилизующая, и все разлагающая, все «объясняющая», но ничего не осмысливающая, с дѣтства вводит людей в мір призраков, тѣней, абстракцій, становящейся для них уже навсегда привычным, своим міром, к затхлому атмосферѣ котораго они настолько приютились, что только в нем им дышится свободно.

Я только что сказать, что люди, страдающіе от культурнаго кризиса нашего времени, ищущіе выхода из него, сами заражены тѣм, что составляет его сущность, и что это сказывается в том невниманіи, с каким они относятся к вопросам воспитанія. Вот самый, по моему, разительный примѣр этого. Как много говорят теперь о необходимости религіознаго возрожденія, о том, что истинная культура немислима без религіи, что культура и есть религія; как много — это надо признать — дѣлается для того, чтобы привлечь к религіи подрастающія поколѣнія, и в то же время: кто из дѣятелей на этом попріщѣ поднял вопрос о современной школѣ? 1) Кто из них задумался над тѣм, что выпеченный в ней полуинтеллигент, приученный все принимать на вѣру, не в состояніи воспринять иначе и самую истину вѣры, требующія от приступающаго к ним способности и навыков изслѣдованія, вниканія, медитации? С этой точки зрѣнія почи, сдѣланный тремя французскими авторами, кажется мнѣ исключительно важным: ибо сейчас до очевидности ясно, что режим, который еще недавно считался обезпеченным чуть-ли не навсегда, режим конституціонной демократіи и либерализма, гибнет, рушится и что, если своевременно не будет сдѣлано попытки возрожденія, путем воспитанія, личнаго сознанія, то вмѣстѣ со всѣми пороками этого режима погибнет и то хорошее, что он дал міру: право свободно говорить, право, напримѣр, безнаказанно напечатать книгу, открыто призывающую к Революціи, какова «Demain la France».

П. Бицилли.

ПРАВОСЛАВНОЕ ДѢЛО

Мучительно слушать или читать любяя теоретическія разсужденія об устройствѣ жизни. С университетских кафедр, в горячих спорах на различных собраніях, люди стараются вмѣстить жизнь в схемы и образцы, вколотить невмѣстимое ее многообразіе в заранѣе опредѣленные формы. И политики, предвидящіе, что будет через де-

1) Об этом говорят педагоги. Но кто их слушает и кто их читает? Впрочем, и педагоги, задумывающіеся над этим, исключеніе.

святлѣтіе, теряются и путаются в мелочах сегодняшнего дня; экономисты, знающие, как разрешить всѣ конфликты и кризисы, не умѣют свести концы с концами в своем скромном бюджетѣ; человеколюбцы, желающие благотворить вселенную, не замѣчают рядом с ними живущаго человѣка.

Поистинѣ, только в молодости можно не видѣть этой нелѣпой насмѣшки, этого кричащаго противорѣчія. С возрастом растет наблюдательность, рождается иронія, возникает абсолютная невозможность воспринять всѣ эти точные диагнозы и рецепты врачей, к которым относятся слова: «Врачу, исцѣлся сам».

Но если в области политики, экономики, — всѣх видов общест-венности — это вѣрно, то особенно мучительно сейчас слушать разгово-ры о христіанствѣ, — о Христвѣ и о Церкви.

В аудиторіях, салонах, кафе, с какой-то изумительной безответ-ственности вырастают теоріи, мнѣнія, острые парадоксы, кружева мысли. Сегодня мы исповѣдуем принципы крайняго аскетизма, а завтра, как будто что-то уже приобрѣтено и пережито от этого чисто словеснаго опыта, ищем новых впечатлѣній в теоріях всеобъемлющаго жизненнаго эксперимента. И повсюду, на всѣ лады звучит одно слово — кризис. Но существу же в самом этом дробном, нецѣлостном отвѣтѣ на вопросы современности демонстрируется самое главное существо кризиса, — кризис цѣлостной жизни, самой сердцевины ея.

Попробуем, начав с самаго большаго и абсолютнаго, перекинуть мост к нашей ежедневной суетѣ, к каждому факту нашей маленькой, конкретной жизни. К тому же она еще и эмигрантская — наша жизнь, — а это значит, как будто, что ни о каких больших перспек-тивах нам, безлчвенным, случайным, усыхающим, говорить и не приходится.

Однако, каждому из нас дана судьба, которая ничуть не меньше и не менѣе трагична от того, что дана она нам в Парижѣ, а не в Мос-квѣ. Каждому из нас было дано рождение, любовь, дружба, жажда творчества, чувство состраданія, справедливости, тоска о вѣчности, — и каждому будет дан смертный час. Мы стоим перед правдой Гос-подней и хотим понять ея вѣднія.

А Правда Господня говорит нам, что Ея не может вмѣстить небо, — и вмѣщают Віалеемскія ясли, что Она созидает и держит мір, — и падает под тяжестью креста на Голговском пути, что Она больше вселенной, — и вмѣстѣ с тѣм не гнушается чаши воды, поданной ей сострадательной рукой. Правда Господня упраздняет различіе между необъятным и ничтожным.

Попробуем строить нашу маленькую, нашу ничтожную жизнь так же, как великій Зодчій строил планетныя системы, проводил черту по лицу Вселенной.

Прежде всего надо строго отмежеваться от предразсудка, свой-

ственнаго самым разнообразным людям. В средѣ ортодоксальнѣйших богословов вы можете услышать, что строить жизнь — ни к чему. Нам дано единное задание, — спасти нашу душу, — а социальная правда, художественное творчество, научная работа и т. д. — это все нас не касается, это только «подѣлка», послушаніе, не имѣющее рѣшающаго вліянія на нашу внутреннюю жизнь. Видно, эти ортодоксальныя мнѣнія вдохновили Розанова на извѣстные его комментаріи к хри-стіанству. Но Христвѣ мір прогорѣл, — выбирайте между Его скорбным Лицом и радостью жизни. Розанов же, — и это удивительно, — для цѣлага ряда людей является чуть ли не единственным экзегетом и комментатором христіанства; он как бы нѣкій отец Церкви, опредѣ-ливший собою должное отношеніе к христіанскому ученію. Тут сразу же намѣчается тупик. Все благополучно, пока человѣк, отрехший-ся от скорбнаго Лица Христова во имя радостей жизни, вѣрит в эти радости. Но трагедія начинается с момента, когда обнаруживается, что радости то эти не очень радостны. Не дает радостей наш подне-вольный и механизированный труд, не дают радостей и развлеченія, болѣе или менѣе однообразныя, в разпой мѣрѣ треплющія нервы, и только. Не дает радости и вся современная жизнь, — горькая, хотя и ней-то отнюдь и не отражается сейчас горькій и скорбный лик Христа. Как будто именно без Него мір достиг максимальной горечи, — потому что максимальной безсмысленности.

Тут надо выдать маленькую тайну: Розанов был очень замѣча-тельным и талантливым человѣком, но рѣшительно ничего не пони-мал в христіанствѣ, как впрочем мало понимали в нем и многочис-ленные христіанскіе начетчики, сухостью своей высушившіе мір.

Христіанство, — это пасхальная радость, христіанство, — это сотрудничество с Богом, христіанство, — это вновь принятое чело-вѣчеством обязательство воздѣлывать Господен рай, однажды от-вергнутое грѣхопадением. И в дебрях этого рая, заросшаго многовѣ-ковым бурьяном грѣха и колючками нашей сухой и безлюбой жизни, христіанство велит нам корчевать, пахать, сѣять, полоть, собирать урожай.

Подлинное, богочеловѣческое, цѣлостное, соборное, православное христіанство зовет нас Пасхальной пѣсней: «Любовью друг друга обы-мем», и ежедневно учит нас за литургіей: «Возлюбим друг друга, да единомыслием исповѣмся». «Возлюбим», — это значит не только еди-номысліе, но и единодѣйствіе, — это значит общая жизнь.

Принято думать, что христіанство, обращенное к міру, это какой то второй сорт христіанства. Подлинное же благоговѣйно обращено к Богу, ищет богообщенія, — и ни чѣм подмѣнить или замѣнить сла-дости богообщенія нельзя и не надо.

Может-быть, отчасти и вѣрно, что всѣ виды общественнаго хри-стіанства, возникавшаго на почвѣ католичества и протестантизма,

дѣйствительно страдали какой-то непреодолимой второсортностью. Но происходило это от того, что они обращались к міру по-мірскому, принимая мірской метод отношенія ко всѣм явлениям жизни, — даже к человѣку. В них отношеніе к Богу опредѣлялось заповѣдью о любви к Нему, а отношеніе к человѣку, — имманентными человѣчеству законами и правилами. Необходимо отношеніе к человѣку и к міру строить не на законахъ человѣческихъ и мірскихъ, а на откровенной заповѣди Божіей, т.-е. видѣть в человѣкѣ образъ Божій и в мірѣ, — созданіе Божіе. Необходимо понять, что христіанство требует от нас не только мистики богообщенія, но и мистики человѣкообщенія, что по существу приводит нас также к раскрытію богообщенія. Только при такой установкѣ исчезает второсортность христіанства, обращеннаго к міру.

Таким образом, начиная с самаго категорическаго отрицанія всякихъ теоретизированій, — особенно христіанскихъ, — о жизни, мы утверждаемъ необходимость, в отвѣтъ на всѣ кризисы современности, просто строить жизнь. Теорія есть тут только нѣкая рабочая гипотеза, позволяющая правильно и быстро разбираться среди жизненнаго многообразія, и она необходима лишь постольку, поскольку мы стремимся это многообразіе преобразить и христіанизировать.

Как будто бы законно и само собою разумѣется, что журнальная статья ставит своей цѣлью только убѣдить в извѣстныхъ теоретическихъ положеніяхъ, только внушить свои мысли и обосновать их. Мнѣ хочется нарушить такую общепринятую традицію и поставить цѣлью этой статьи не раскрытіе извѣстнаго ряда мыслей, а призывъ к общему дѣланію. В такой постановкѣ есть извѣстная трудность, связанная с предразсудкомъ, общимъ всѣмъ нам. Нам стыдно и неудобно говорить о малыхъ дѣлахъ. Мы такъ привыкли теоретизировать в планетарныхъ масштабахъ, мы такъ легко на словахъ кромсаемъ границы государствъ, находимъ средства от безработицы, оперируемъ с философскими системами всѣхъ эпохъ и народовъ, взвѣшиваемъ и расцѣниваемъ истины религій, — и при всемъ этомъ ничему не удивляемся и ничему не отдаемъ нашей жизни, — что звучитъ почти непростительной и недопустимой наивностью заговорить о чемъ то, что не имѣетъ планетарнаго размаха (а одновременно, можетъ быть, жизни требуетъ). Такъ вот, заранѣе принимая упрекъ в любви к малымъ дѣламъ, я все же хочу именно о нихъ говорить, — о нашей маленькой, скудной, нищей жизни.

К каждому читателю этихъ строкъ я обращаюсь с вопросомъ: Вы знаете, какъ трудно, нелѣпо, одиноко и безцѣльно идетъ наша общая с вами эмигрантская жизнь? Вы испытали, навѣрное, на своей собственной судьбѣ, что значитъ слово кризисъ. Всяческій кризисъ, — не только тотъ, который сократилъ или уничтожилъ вашъ заработокъ, выселилъ вашего пріятеля в другую страну искать счастья. Нѣтъ, но и другой кризисъ, который опустошилъ вашу душу, опустошилъ душу чело-

вѣчества, обезсмыслилъ жизнь, вынулъ из нея какой-то основной стержень. Знаете ли вы, что такое кризисъ жизни, кризисъ вѣры в Бога и в человѣка, кризисъ воли къ осуществленію образа Божьяго в себѣ и къ раскрытію его в своемъ братѣ? Если вы знаете это, то мы с вами имѣемъ цѣлый огромный запасъ общихъ знаній, из которыхъ надо сдѣлать и общіе выводы. Вот они: давайте строить новую жизнь.

Давайте преодолѣемъ кризисъ внутри себя, давайте преодолѣемъ наше эмигрантское захолостное убожество, — и со всей серьезностью, не только в области теоретическихъ построеній, но и в области ежедневнаго нашего быта попробуемъ осуществить подлинную христіанскую соборность, общую жизнь, — «любовью друг друга обьемемъ».

Можетъ-быть, мнѣ было бы гораздо труднѣе писать такой призывъ, если бы я не чувствовала около себя значительную группу лицъ, уже сговорившихся и вошедшихъ в общее дѣло, которое мы называемъ «Православное дѣло». Мы не только теоретизируемъ, но по мѣрѣ нашихъ слабыхъ и очень недостаточныхъ силъ стремимся осуществлять наши теоріи на практикѣ. Мы имѣемъ общежитіе, мужское и женское, мы имѣемъ дешевую столовую, мы стараемся обслуживать русскихъ больныхъ, какъ во французскихъ госпиталяхъ, так и на дому, мы думаемъ устроить в ближайшее время домъ для выздоравливающихъ, мы организуемъ церковныя службы, гдѣ ихъ нѣтъ, воскресно-четверговья школы, доклады, собранія, конференціи. Мы раздаемъ книги. Мы мечтаемъ среди огромнаго и чужого Парижа создать православный городокъ.

Какъ все это ничтожно по сравненію с возможностью точно высчитать сроки паденія большевиковъ или пути міроваго кризиса, — и какъ это много по сравненію с одиноками, заблудившимися тропами, на которыхъ бродят опустошенныя человѣческія души!

Мы не хотимъ быть благотворителями, — мы строимъ нашу общую жизнь. Не наша вина, что это не жизнь огромнаго государства или всего человѣчества. Мы приставлены къ малому и хотимъ в маломъ быть вѣрными. И мы зовемъ, — помогите намъ, — и не только потому, что намъ дѣйствительно и реально нужна помощь каждаго живого человѣка, но и потому, что и для насъ нужно намъ помочь и этимъ приобщиться къ нашему радостному и братскому дѣлу.

Утопично и наивно звучатъ мои слова? Можетъ-быть. Но вы можете говорить о ихъ наивности и утопичности только в томъ случаѣ, если у васъ есть собственный точный способъ побѣдить свое маловѣріе, равнодушіе, отсутствіе цѣльности, заполнить пустоту жизни, — и не только заполнить, но и подлинно создать настоящія, реальныя цѣнности. Если же, взглядывшись в себя, вы почувствуете, что душа ваша нища, то придите къ намъ, чтобы дать намъ возможность заполнить ее любовью къ такимъ же душамъ, из которыхъ каждая подлинный и прекрасный образъ Божій.

Монахиня Марія.

ОБЩЕЕ ДѢЛО

1. Обреченность эмиграции

Когда среди нас возникает вопрос о смыслѣ нашего эмигрантскаго существованія, о возможностяхъ преодоленія отрицательныхъ и тягостныхъ явленій эмигрантской жизни, о нашемъ отношеніи къ событіямъ, совершающимся на родинѣ, и возможности нашего участія и вліянія на ходъ событій в Россіи, эти законные и животрепещущіе вопросы постоянно наталкиваются на пессимистическій и авторитетный отвѣтъ: эмиграція по сути своей обречена на полное безсиліе, на духовное разложеніе и, в конечномъ итогѣ, на полнѣйшее разсыпаніе и исчезновеніе в пустомъ пространствѣ. Всѣ усилія эмиграція отстоять свое физическое и духовное существованіе безплодны и напрасны. Этотъ жестокой приговоръ подкрѣпляется многочисленными примѣрами из исторіи различныхъ народовъ, эпохъ и революцій и обосновывается болѣе или менѣе объективными доказательствами, что эмиграція есть оторванность от родной почвы, исключенность из родной стихіи языка, быта, вѣрованій, привычекъ, климата, ландшафта и т. д. Выключенность из родной стихіи обрекаетъ людей, находящихся в эмиграціи, на ирреальное существованіе или на денационализацию. Такимъ образомъ банкротство эмиграціи есть печальный результатъ объективнаго положенія вещей. На этотъ жестокой и авторитетный отвѣтъ, как будто нечего возразить. Онъ принимаетъ в устахъ утверждающихъ его отгѣнокъ непреложнаго социологическаго закона, которому приходится только подчиниться, какъ печальной и неизбежной необходимости.

И вотъ когда вновь и вновь обдумываешь всѣ про и contra, всѣ тезы и антитезы, связанныя съ этимъ проклятымъ вопросомъ, в душѣ поднимается бунтъ противъ этой жестокой и несправедливой необходимости, противъ этого неправеднаго приговора. Наше моральное «я» не мирится съ этой научной и объективно доказанной предопредѣленностью. Я увѣренъ, что и большинство русскихъ, в особенности молодыхъ русскихъ людей, жаждающихъ живой, осмысленной дѣятельности, не можетъ примириться съ мыслью о моральной и духовной смерти. Кто хочетъ жить и свою жизнь сдѣлать осмысленной, будетъ искать другихъ рѣшеній. Такъ мы и видимъ на самомъ дѣлѣ. Несмотря на ясно и опредѣленно высказанный тезисъ, который всѣмъ извѣстенъ, люди не успокаиваются, продолжаютъ искать, на что-то надѣяться, что-то строить, опять разочаровываются и все вновь и вновь съ новыми надеждами и вѣрой продолжаютъ свой скорбный эмигрантскій путь. Этотъ объективно обоснованный тезисъ вступаетъ в конфликтъ съ нашей совѣстью, в конфликтъ съ жизнью. Правилен ли онъ? Если безмысленность существования эмиграціи, ея духовное банкротство предопредѣлены, поищемъ причины этой предопредѣленности. Найти истинную причину

явленія, значитъ во многихъ случаяхъ овладѣть ключемъ, который отпираетъ и запираетъ замокъ предрѣшенности событія. Анализъ предрѣшенности нашего существованія сам по себѣ задача достойная и неотложная. Разрѣшеніе этой задачи есть наше первое «общее дѣло».

2. Общее дѣло

Представленіе об отрицательной предопредѣленности эмиграціи вытекаетъ, мнѣ кажется, из укореившагося в нашемъ сознаніи общаго представленія о человѣческомъ обществѣ, государствѣ и человѣческой дѣятельности, на основаніи чисто формальнаго опредѣленія государства, какъ территоріи, населенной опредѣленнымъ народомъ (націей), объединеннымъ опредѣленнымъ закономъ и правительствомъ, короче, какъ территоріи, народа и правительства. Для нормативнаго юридическаго сознанія наличность этихъ трехъ дѣяностей достаточна, чтобы то или другое общественное образованіе признать за государство. На этомъ опредѣленіи основано признаніе С.С.С.Р., какъ государства. Великое общественное движеніе конца 18-го вѣка искало другого, менѣе формальнаго принципа государственности, и увидѣло его в «общественномъ договорѣ». Эти два опредѣленія, два пониманія государства и человѣческаго общества до сихъ поръ живутъ в нашемъ сознаніи и формируютъ наши представленія. Они кажутся мнѣ неполными, а потому невѣримыми. Юридическое опредѣленіе трехчленно, при чемъ является непонятнымъ, что связываетъ в одно цѣлое три основныя стороны государственности: территорію, народъ и правительство. Опредѣленіе государства, какъ общественный договоръ, одночленно, но и оно слишкомъ отвлеченно и формально, направлено явно не на суть, не на первоначальное, а зависимое. Мы понимаемъ государство и человѣческое общество, какъ «Общее Дѣло», принципы котораго намѣреваемся вкратцѣ развить в нижеслѣдующей главѣ, и даемъ государству новое опредѣленіе, основанное на философіи общаго дѣла: «Государство есть человѣческое общество, объединенное общимъ дѣломъ, направленнымъ къ утвержденію жизни на опредѣленной территоріи и осуществляемымъ основной государственной и общественной организаціей, правительствомъ и другими учрежденіями». Опредѣленіе государства, какъ общаго дѣла, устраняетъ недостатки юридическаго и политическаго пониманія и указываетъ на первостепенную и основную сущность государственнаго существованія людей. Общее дѣло опредѣляетъ каждую изъ трехъ государственныхъ стихій: и территорію, и народъ, и правительство и объединяетъ ихъ в органическое единство. Тамъ, гдѣ возникло общее человѣческое дѣло, тамъ уже есть всѣ элементы нарождающейся государственности, начиная дагося общественнаго единства. Муравьиное сообщество, которое справедливо понимается какъ прообразъ человѣческаго государства, является таковымъ не потому, что нѣ-

сколько тысяч особей живут в одной куче и обладают определенным распорядком жизни, а потому, что у каждой муравьиной семьи имеется общее дѣло, которое и заключается в первую очередь в создании муравьиной кучи, в отстаивании определенной территории для своего существования, в защиту своего дома и дѣла от нападения и т. д.

Общее дѣло, а с ним и государство возникает для удовлетворения простѣйших потребностей человеческого существования и укоренено на первоначальных ступенях развития в биологии: необходимость в защите от холода и голода, борьба с дикими звѣрями, защита от нападения враждебных племен. Постепенно общее дѣло расширяется и развѣтвляется. В него входит все больше духовных, культурных моментов, которые органически сростаются с главным стволем общаго дѣла. Современное государство подобно могучему многовѣковому дереву, которое сохраняет все существенное, выращенное в прежние юные годы и каждый год дает все новые почки, вѣтки и цвѣты, новые корневые побѣги и новые отложения на своем стволе. Государственная жизнь народов проявляется в многообразных формах, зависящих от организаци общаго дѣла. Окидывая бѣглым взглядом извѣстный нам отрѣзок историческаго существования, можно замѣтить нѣкоторую эволюцію, или восходящую линію развития общаго дѣла: от маленьких государств-республик Эллады до современных сложных государств-имперій.

Устойчивость этих образований зависит от двух условий: от дѣятельнаго осуществленія общаго дѣла внутри государства и от столкновения с другими государствами.

Россия является государством еще становящимся, еще не развернувшим во всю ширину своих возможностей. Поэтому она предстает нам как нѣкій еще неясный в своих деталях замысел о каком-то новом и грандіозном общем дѣлѣ. В настоящей статьѣ нѣтъ возможности развернуть в полной мѣрѣ этот взгляд на Россию, как на потенціальное государство какого-то новаго еще не бывшаго типа, которое является преодоленіем всѣх до сих пор достигнутых ступеней государственнаго развития и синтезом всѣх бывших до сих пор состояній. В России прошлой, дореволюціонной мы видим только отдѣльные неясные намеки на это грандіозное становленіе. Трагедія России заключается в том, что ни власть, ни общество, ни народ в цѣлом не поняли великих исторических задач своего времени, не могли обосновать и организовать новаго общаго дѣла, — и в результатѣ русская государственность сорвалась в пропасть. В недалеком будущем мы постараемся раскрыть эту проблему полнѣе. В настоящем достаточно указать, что новое русское общее дѣло, намѣчавшееся ходом русскаго историческаго процесса, но не осуществившееся бла-

годаря срыву в революцію, ставит к разрѣшенію кардинальнѣйшіе вопросы нашего земнаго существованія.

В силу вышеизложеннаго современное состояніе русскаго государства С.С.С.Р. ни в коем случаѣ нельзя признать за настоящее государственное состояніе, несмотря на то, что и территория, и народ, и правительство в нем представлены. В современной России отсутствует главный стержень государственности: общее дѣло. С.С.С.Р. есть состояніе, при котором отдѣльные стихіи государственности возстали одна против другой, власть против народа и народ против власти. То общее дѣло, которое власть навязывает силой русскому народу, воспринимается послѣдним, как рабство, как враждебное и чуждое дѣло. С.С.С.Р. есть безумная попытка организовать государство против общаго дѣла.

Заключаем. Государство есть прежде всего общее, всенародное дѣло. Всякое государство существует, пока каждый член его так или иначе признает это общее дѣло. Революція есть отказ народа от общаго дѣла, которое перестает его удовлетворять. Революція есть развал общаго дѣла. Кризис сознанія, перерыв традиціи суть только спутники разрушающагося общаго дѣла, спутники и тревожные симптомы, сигналы. Наша величайшая из всѣх революцій дает этому яркое доказательство. Тщетно искать причин революціи в кризисѣ религіознаго, нравственнаго, правового и т. п. сознанія. Всѣ эти кризисы мы можем во всякой революціи легко обнаружить, но всѣ эти явленія ни в коем случаѣ не указывают на главное, на основную причину революціи. Основная причина глубочайшей русской революціи заключается в утерѣ основной массой русскаго народа, крестьянством и, отраженно, интеллигенціей, смысла их повседневнаго труда, в неоправданности общаго дѣла, безперспективности существованія. Эта революціонная ситуация создалась благодаря далеко зашедшему процессу аграрнаго перенаселенія страны, связаннаго с ним обнищанія, разложенія народнаго трудового быта, утери надежды на цѣлесообразность дальнѣйшаго хозяйствованія. Только этим можно объяснить длительность, болѣзненность и глубину революціоннаго взрыва.

Революція есть отказ народа от неудовлетворяющаго народ общаго дѣла и развал этого общаго дѣла. Эмиграція есть сознательная или насильственная выключенность из общаго дѣла и невключенность ни в какое другое общее дѣло. Эмиграція, как правило, защищает себя от включенія в другое чуждое общее дѣло, т.-е. от денационализаціи. Она не может также согласиться на то общее дѣло, которое возникает послѣ революціи на родинѣ. Эмиграція противостоит таким образом и тѣм государствам, в которых она временно находит прибѣжище, и новой пореволюціонной государственности, создающейся на родинѣ. Оправданность и смысл эмиграціи всецѣло опреде-

ляется тѣм, какая у нея есть возможность для новаго общаго дѣла, как зародыш или как закваска новой государственности.

Мы думаем, что такое общее дѣло для русской эмиграции есть. Прежде чѣм приступить к раскрытію его, необходимо еще подробнѣе проанализировать понятіе и содержаніе, идеальную сущность «общаго дѣла».

3. Основные принципы общаго дѣла

Чтобы избѣжать недоразумѣній, выясним прежде всего наше отношеніе к знаменитому русскому философу Федорову и к его труду «Философія общаго дѣла». Автор ни в коем случаѣ не согласен с основной идеей Федорова, идеей воскрешенія трупов. Воскрешеніе мертвых есть дѣло Божіе, а не человѣческое. вмѣстѣ с тѣм автор признает за Федоровым его огромное значеніе, как перваго мыслителя и обоснователя общаго дѣла. В нижеизложенном найдется много общаго с философией Федорова.

Философія общаго дѣла есть попытка синтеза между идеей и бытіем. И идеализм, и материализм, в отдѣльности взятые, суть разрыв с жизнью. Доведенные до крайности, они всегда в том или другом пунктѣ вступают в конфликт с реальной жизнью. Философія общаго дѣла есть попытка утвержденія жизни. Если идеализм есть отрыв в высь, а материализм закапываніе вниз, то общее дѣло должно представлять собой воссоединеніе этих начал, выражающееся в духовном волеустремленіи к устройенію жизни через человѣческую практику. Общее дѣло утверждает таким образом одухотвореніе матеріи и воплощеніе духа. Этот синтез не возможен ни в отвлеченном мышленіи, ни в мертвой материальности, представляющих как бы статическое начало бытія. Он возможен в движеніи, в энергіи, в дѣятельности одухотворенных существ: людей. Таким образом общее дѣло всецѣло утверждается в православно-религіозном сознаніи на догматѣ воплощенія духа и воскрешенія плоти, на сознаніи утверждающем, что вѣра без дѣл мертва.

Общее дѣло в своей духовной и материальной сторонѣ не может обойтись без опредѣленнаго представленія о свободѣ воли. Для общаго дѣла является одинаково непріемлемым признаніе как абсолютной свободы воли, так и абсолютной детерминированности. Бесплодный философскій спор между сторонниками свободоволія и предопредѣленности общее дѣло устраняет совсѣм, вводя понятіе доброволія и зловолія. В этом пунктѣ абстрактныя добро и зло связываются с живой практикой бореній и побѣд в человѣческой душѣ. Общее дѣло отсюда должно быть морально обосновано. Понятіе доброволія спасает общее дѣло от своеволія и произвола, в которые впадают защитники абсолютной свободы воли, спасает и от рабства слѣпым за-

конам природы, от рабства желѣзной необходимости. Но доброволіе не отмѣняет этих антиномичных категорій, а синтезирует их, приводит в опредѣленную координированность и утверждает, что в общем дѣлѣ произвол и своеволіе ограничены жизненной необходимостью, добровольно признаваемой, а подчиненіе слѣпой необходимости преодолевается свободными и разумными усиліями человѣческих воли, управляющими, благодаря знанію законов природы, процессами естества.

Понятіе общаго дѣла обладает нѣкоторыми свойствами, необходимыми для утвержденія общности человѣческих интересов, дѣятельности и судьбы людей. Во-первых, общее дѣло имѣет тенденцію включать в себя все разнообразіе различных человѣческих дѣятельностей, как бы сильно ни разнились отдѣльныя человѣческія поприща. Во-вторых, идея общаго дѣла укоренена в человѣческой душѣ религіозным основаніем и душа человѣческая, как многострунный музыкальный инструмент, отзывается на общее дѣло, различает общее от частнаго, доброволіе, с которым оно консонирует, от диссонирующаго ей зловолія. Таким образом, общее дѣло не только опредѣляет всякую человѣческую дѣятельность, как общую, но и обладает нѣкоторой вовлекающей, притягивающей, в нѣкоторых случаях принуждающей, силой, стремящейся индивидуальныя и разрозненныя человѣческія воли и дѣйствія включить в электромагнитное поле общаго дѣла. Практически, в общем дѣлѣ могут и должны объединяться люди самых различных профессій, умственных уровней, степеней развитія, наклонностей и вкусов, крестьянин и рабочій, салонник и художник, политическій дѣятель и кабинетный ученый, воин и монах. Для этого необходимо только наличіе общаго дѣла и добровольнаго его признанія.

Теорія общаго дѣла утверждает, что государственно-политическая жизнь людей является слѣдствіем органически возникающаго и развивающагося общаго дѣла. Человѣческое общество не есть слѣдствіе общественнаго договора, борьбы классов и т. п., а слѣдствіе общаго дѣла людей. Поэтому даваемое современным государственным правом опредѣленіе государства, как территоріи, народа и правительства, неполно, статично и неправильно. Государство есть, с точки зрѣнія философіи общаго дѣла, человѣческое общество, объединенное общим дѣлом, направленным к утвержденію жизни на опредѣленной территоріи и организованным как опредѣленная власть. Теорія общаго дѣла не только указывает на главную сущность общественной и государственной жизни, но и рѣшительным образом охраняет человѣчество от стихій анархій, очень сильной в хаотической душѣ русскаго человѣка. Она представляет государственную жизнь не как идеал, но как вѣчно мѣняющееся, облагораживающееся и не-

обходимое дѣло; противленіе которому является своевоіем и грѣхом против моральнаго закона и жизненных велѣній.

В каком-то отдаленном и идеальном будущем общее дѣло представляется как объединеніе усилій всѣх людей, населяющих земной шар, усилій направленных к преобразенію жизни. Общее дѣло утверждает причастность каждаго человѣка, каждой націи, любой человѣческой группировки к общему вселенскому человѣческому дѣлу. С точки зрѣнія общаго дѣла, европейскія государства переросли в настоящее время рамки національнаго общаго дѣла, но не осознали еще насущной необходимости новаго общаго дѣла в европейском масштабѣ.

Общее дѣло утверждает, что историческій процесс не случаен и не безсмыслен (утвержденія, к которым приводит современная наука, не служащая общему дѣлу), а является процессом, направленным доброй волей к преобразенію жизни. Трагичность исторіи человѣчества зависит от борьбы доброволія со зловоліем.

Современное состояніе и жизнь государств должны быть подвергнуты болѣе глубокому анализу с точки зрѣнія общаго дѣла. Даже при поверхностном взглядѣ на современную политическую жизнь становится ясным глубочайшій кризис, переживаемый современным человѣчеством, — болѣзнь общаго дѣла. Эту болѣзнь замѣчаем мы как во внутренней жизни каждаго государства, так и во внѣшней, мировой политикѣ. Во внутренней жизни многих государств мы наблюдаем распад общаго дѣла, выражающійся в утвержденіи зловольнаго, индивидуалистическаго, зоодарвинистическаго примата частнаго над общим (послѣ нас хоть потоп; на наш вѣк хватит, и т. д.). Во внѣшней политикѣ государства выступают как злая воли, не преобразующія землю и жизнь на ней, а искажающія ее. Таков современный империализм, стремящійся к ограбленію міра в пользу дарвинистическаго человѣка. Общее дѣло отнюдь не против империализма, если он является слѣдствіем органически развивающагося общаго дѣла, если он направлен доброй волей к утвержденію и преобразенію жизни, если он стремится не к оголенію жизни, а к ее обогащенію.

Общее дѣло утверждено в религіи. Оно опирается на моральный принцип доброволія. Человѣчeskій разум и физическія способности человѣка, как разумно дѣйствующаго в матеріальном мірѣ существа, утверждающаго жизнь и преодоляющаго разложеніе жизни — смерть, их общее дѣло рассматривает как орудіе доброй воли. Поэтому для философіи общаго дѣла важна не гносеологія, а общая методологія мышленія и дѣйствія. Эта методологія ясна и вытекает из понятія общаго дѣла. Мышленіе ни трансцендентно, ни имманентно, ни тѣм болѣе не матеріально, оно проэктивно. (Утвержденіе Феторова). Оно должно создавать идеальные образы космоса, жизни, от-

дѣльных предметов. Это дѣло — общее дѣло науки, искусства и философіи. Таким образом мышленіе и вытекающая из него разумная человѣческая дѣятельность по принципам общаго дѣла являются соучастіем разумных существ в замыслѣ Бога о мірѣ. Идеальные образы преобразенной дѣйствительности не должны быть пустыми фантазіями, но проэктами, планами, подлежащими немедленному осуществленію общими усиліями людей. Всякое научное мышленіе поэтому направлено с одной стороны на познаніе естественных, органических отношеній между явленіями и предметами природы и живых существ (естествознаніе и обществовѣдѣніе), а с другой на изысканіе возможностей преодолѣнія, при помощи познанія природы, слѣных ея сил.

Пропаганда общаго дѣла существенѣйшим образом отличается от других пропаганд, напримѣр, партійных, тѣм, что она обращается к каждаму человѣку и считает каждаго человѣка принципиально необходимым для общаго дѣла. В этом большое преимущество идеи общаго дѣла перед всѣми другими. С самаго начала она стремится объединять людей, а не раздѣлять.

Мы утверждаем, что для эмиграціи существует большое и захватывающее общее дѣло, которое является предпосылкой осмысленія нашего существованія, предпосылкой для включенія эмиграціи в будущее общее русское народное дѣло. Трудность осуществленія общаго дѣла эмиграціи заключается в сложности самаго дѣла, в сложности духовной и политической обстановки. Проведеніе общаго дѣла в эмиграціи требует повышенной гражданской добродѣтели. Оно не налаживается благодаря своевоію и безответственности отдѣльных лиц, перед которыми находится слишком много соблазнов и возможностей отказаться от своих трудных обязанностей, уклониться от категорическаго императива доброволія.

4. Общее эмигрантское дѣло

Эмиграція противостоит двум чуждым стихіям, от растворенія в которых она должна себя ограждать. Первая и основная — это враждебная стихія ложнаго и извращеннаго общаго дѣла, создаемаго на родинѣ коммунистической партіей, неприемлемаго для нас. Вторая — стихія чужога общаго дѣла, в которую поневолѣ окунается каждаый эмигрант благодаря своему временному существованію. С этой послѣдней стихіей у каждаго русскаго человѣка, кромѣ чуждых сторон, есть много общаго, так как каждае отдѣльное національное общее дѣло содержит элементы всемірности. Таким образом общее эмигрантское дѣло одной стороной соприкасается со своей родиной, другой со странами нашего разбѣянія, со всѣм земным міром. Третья сторона эмигрантскаго дѣла заключается в отстаиваніи своего права на существованіе, в отстаиваніи своей духовной свободы.

Задача эмигрантской деятельности по отношению к родине двоякая — положительная и отрицательная. Обратимся сначала к положительной задаче. Для общего дела необходимо добровольное и свободное признание каждой личностью неизбежности своего трудного и ответственного эмигрантского состояния и своего героического служения. Наша душа должна обраться в постоянной и бодрствующей устремленности к родине. Во всех наших делах и мыслях нам должен предстать образ России. Наши труды должны быть направлены на служение родине. Это возможно только тогда, когда родина предстает нам очищенной от всех временных искажений, как некий идеальный образ. Для создания этого образа требуется огромнейшее духовное усилие. Необходим острый синтетический взгляд на родину, на ее прошлое и настоящее, провидение возможностей ее будущего развития. Этот образ не может быть фантастическим, он должен органически возстать на путях синтеза как материальных, так и духовных сторон жизни России. Каждый русский человек носит в своей душе этот идеальный образ России, как зачаток или сема. Оно заложено в его душе с момента появления его на свет, оно возникает вместе с таинственнейшим из чудес в жизни, а именно с чудеснейшим рождением его сознания из мрака и пустоты. Оно укоренено в его сознании вместе с первым ощущением луча солнца и радостью бытия, в первом слове на родном языке. Этот образ растет и осмысливается по всей последующей жизни. Здесь в эмиграции мы должны заняться тщательным уходом за ним, разбить неясный и недифференцированный намек в сознательное, наполненное конкретным содержанием представление. Создание этого образа-идеала есть первая и необходимая задача общего дела. Вот этому то очищенному от искажений образу России мы должны служить.

Могучий вихрь разбросал русских людей по всему миру. В свете индивидуального и обособленного человеческого сознания этот факт является печальной и бессмысленной случайностью, но с точки зрения общего дела разбег русских людей по всему свету имеет глубокий смысл и огромное значение. Впервые в истории большое количество русских людей принуждено жить продолжительное время в различных климатах, среди различных народностей, бытовых и трудовых условий. Принуждено не только наблюдать чужую жизнь подобно праздным туристам, но и бороться за свое существование, за свою духовную свободу, внося в эту чужую жизнь свое неотъемлемое от нашей души трагическое сознание. Русская коллективная душа накапливает грандиознейший опыт жизни всего человечества, который не может быть получен никаким изучением, никакими командировками. Не подлежит никакому сомнению, что этот опыт будет иметь колоссальнейшую ценность для России. Но этот опыт может пропасть, не будучи своевременно упорядочен.

Две положительные задачи стоят перед эмиграцией и ждут своего разрешения: познание России и использование опыта жизни людей всего земного шара для применения его к России. Обе эти задачи служения России можно объединить в одном организационном начинании. Практически можно связать эту деятельность с уже возникшими в различных местах разбегания курсами познания России, кружками родниковедения. Эти выдвинутые самой жизнью организации нужно переорганизовать по принципам общего дела. Задачу близкую к принципам общего дела ставит себе, насколько мне известно, берлинский кружок родниковедения, организованный «Объединением русских окончивших высшие учебные заведения за границей», ОРОВУЗ-ом.

Берлинский кружок родниковедения возник с самого начала в виде двух связанных общей целью и устремлением образований, разделенных только организационно. Первая организация состоит из специалистов самых различных направлений, работающих научно в своей области. Одним от себя этой организации на первый взгляд громкое, но по существу правильное название «академия». Вторая организация по замыслу организаторов должна явиться свободной и больше или меньше открытой кафедрой для проповеди выработанных в академии идей и решений, для подготовки научных и практических работников в деле служения России. Это второе учреждение назовем «университетом». Дело, конечно, не в названиях, а в той сущности, которая за ним скрывается. Сущность же этого начинания, организационные начала, постановка вопросов, методология и вся устремленность в работу весьма близко совпадает с нашим пониманием служения России в эмигрантском положении. Пожелаем же берлинскому начинанию дальнейших успехов, преодоления всех трудностей, которых так много в эмигрантских условиях, продолжения специфической эмигрантской борьбы, разложения и т. д. и прием берлинский опыт, как пример для организации подобных начинаний в других странах. Организационный принцип берлинского кружка прием за исходный пункт дальнейших разсуждений.

Академия состоит из различных специалистов, работающих активно и научно в своей области. Круг лиц, отобранный по этому признаку, сам собой ограничен. Это ограничение, как ограничение чисто организационное, не противоречит идее общего дела. Для успешности работы в академическом плане ограничение должно быть еще больше узким. От каждого члена академии требуется добровольная и безкорыстная готовность работать на Россию, жертвовать частью своего времени на изучение России в определенном направлении, быть руководителем и организатором коллективной, семинарской, исследовательской работы в той или другой области. От него требуется далее сделать еще одно усилие над собой, а именно так изменить метод и постановку изучаемого вопроса, чтобы этот вопрос был определенной проблемой по отношению к России, чтобы научная разработка вопро-

са давала то или другое рѣшеніе этой русской проблемы. Разберем какой-нибудь конкретный вопрос. Перед нами, предположим, вопрос шоссеинаго строительства. Специалист разрабатывающій этот вопрос в духѣ «общаго дѣла», должен не только научно и объективно разобрать его, как он рѣшается современной наукой дорожнаго строительства, но должен поставить этот вопрос, как проблему для Россіи. Он должен быть отвѣтствен в этом вопросѣ перед Россіей. При такой постановкѣ сам собой выясняется истинный метод рѣшенія этой проблемы: 1) точное изученіе искусства строительства; 2) опыт строительства за границей; 3) изученіе возможностей и условий строительства дорог в Россіи (знакомство с геологіей, географіей и экономикой Россіи); 4) дѣловая и конкретная критика совѣтскаго строительства; 5) созданіе оправданнаго и отвѣтственнаго плана дорожнаго строительства для Россіи. Для выполнения работы по этой программѣ требуется специальное заграничное (и русское) образованіе, практическое знакомство со строительством, изученіе Россіи и совмѣстная дружная работа с другими специалистами, знаніе современнаго положенія вопроса в Совѣтской Россіи, умѣніе составить обоснованный научно, практически, экономически, конкретный план.

Можно насчитать нѣсколько десятков таких вопросов, которые являются в то же время проблемами по отношенію к Россіи. Вся жизнь в Россіи требовала и сейчас требует пересмотра и перестройки сверху до низу на началах новаго общаго дѣла: государственное устройство, мѣстное самоуправленіе, коммунальное хозяйство, организация сельскаго хозяйства, проблема заселенія Сибири, тайги и Туркестана, переселенческое дѣло, строительное дѣло, перестройка народнаго быта и т. д., и т. п. К рѣшенію всѣх этих проблем нужно привлечь опыт всего человѣчества. Этот опыт мы сейчас уже можем мысленно прикладывать к нашим русским условіям.

Постепенно в академіи будет накапливаться конкретный матеріал, облекающій живой плотью наше слишком общее и потускнѣвшее в изгнаніи представленіе о реальной Россіи. Постепенно будет создаваться общій, широко развитленный и в идеалѣ всеобъемлющій план будущей нашей дѣятельности в Россіи. Въдѣ старая Россія лежит в развалинах, а новую, коммунистическую, мы не можем принять. Строить третью Россію мы можем только в том случаѣ, если к этому подготовимся, если мы сумѣем из огромной, разсѣянной и разложившейся эмиграціи составить сплоченную армію будущих работников Россіи.

Всеобщая эмигрантская «академія», если таковая появится в результатѣ отдѣльных начинаній, должна охватить для своего изученія всѣ области русской жизни. Она должна через «университет» призывать русскую молодежь к сознательному, положительному и твор-

ческому познанію Россіи, выработать для нея методы работы на принципах общаго дѣла и руководить ея работой.

В результатѣ этой работы будет возможно безпощадное разоблаченіе совѣтской извращенности, основанное не только на политическом отталкиваніи, но и на глубоком пониманіи конкретной дѣятельности. Только такая критика коммунизма будет губительна для совѣтской власти.

Для русскаго же народа, обманутаго и обольщеннаго коммунизмом, коммунизмом, очень сильно похожим на давно уже бывшее в исторіи и носившее тогда другое названіе — рабство, мы должны выставить новый идеал, новое болѣе справедливое, болѣе естественное общее дѣло. Мы должны показать ему, что мы не растратили наших талантов, не даром страдали и трудились всѣ эти долгіе годы, что мы принесем ему опыт всего человѣчества, необходимый ему для жизни и борьбы в огромной странѣ с суровой природой.

Наша надежда на побѣду должна опираться не на какую-то случайную, внѣшнюю политическую ситуацію, а всецѣло на то, сумѣем ли мы возбудить новую вѣру, зажечь сердца русских людей новым, высоким идеалом, доказать совѣтской молодежи, очарованной (дьявольским) видѣніем земнаго коммунистическаго «рая», что перед Россіей лежит другой свѣтлый и свободный путь, без застѣнков, тюрем, концентраціонных лагерей, без рабских колхозов и крѣпостных фабрик, и что вступить на этот путь зависит только от нашей доброй воли.

Поэтому послѣдней задачей общаго эмигрантскаго дѣла является изученіе условий и возможностей сверженія совѣтской власти, выработка плана всенародной организациі для преодоленія коммунизма и устроенія Россіи на новых началах, на принципах общаго дѣла.

В заключеніе я хотѣл бы выразить пожеланіе, чтобы план общаго эмигрантскаго дѣла не остался еще одним лишним эмигрантским предложеніем. Поэтому я призываю всѣх русских людей и в первую очередь русских специалистов, ученых, политиков, философов, художников, писателей и поэтов, музыкантов и русскую учащуюся молодежь немедленно приступить к обсужденію общаго дѣла; там, гдѣ есть возможность, начать организацию курсов родиновѣдѣнія на принципах общаго дѣла.

Русских специалистов, работающих активно, научно и практически, призываю устроить всемірную переключку для выясненія наших сил, для выясненія того, кто, гдѣ и что дѣлает. Эту переключку организовать не ввидѣ анкеты, а ввидѣ живаго общаго дѣла, а именно ввидѣ изданія сборника саморефератов, кратких докладов о своих научных трудах. Изданіе этого сборника явилось бы первым пробным шаром для нашего объединенія, которое необходимо для общаго дѣла.

Б. Лицо эмиграции

Не по одеждѣ и не по языку узнается современный русскій человекъ, а по особенному выраженію его лица, выраженію безнадежности и растерянности, в которыхъ пребывает его душа. Всмотритесь в лица окружающей нас людской толпы, все равно в какой странѣ, в какомъ городѣ. В любой странѣ нашего разбѣянія, в любой моментъ жизни, в день ли новогоднего торжества или в день будничныхъ забот, вы сейчас же отмѣтите среди многочисленных и разнообразныхъ выраженій, улыбок, слез, восторга и печали одно незабываемое выраженіе, присущее только современному русскому человеку, эмигранту, — это застывшее выраженіе безнадежности, недоумѣнія, отчаянія и тоски. Среди равнодушных, самодовольных, возбужденных, радостных, печальных и озабоченныхъ лиц, мелькает наше русское лицо с гипичнымъ всюду и вездѣ ясно отличнымъ выраженіемъ...

...Кому дорого свободное развитіе русскаго народа, кто вѣрит в великое будущее Россіи, кто носит в себѣ великіе замыслы и свой идеал ищет претворить в жизни, кто видит, как лучшія силы націи молча гибнут в дикой современной обстановкѣ, всѣхъ тѣх, в комъ жива ненависть к порабитителямъ русскаго народа, в комъ зрѣет готовность на великое и святое дѣло освобожденіе русскаго народа, готовность служить Россіи, всѣхъ призываем мы к «общему дѣлу».

С. Бѣлозеров.

22-го октября 1935 года.

ВОЗВРАЩАТЬСЯ ЛИ НАМ В РОССИЮ?

(Конспект рѣчи, произнесенной на открытіи
Пореволюціоннаго Клуба)

Эмиграція переживаетъ самый тяжкій періодъ своего существованія. Мировой кризисъ превратилъ «апатридовъ» в паріевъ европейскаго классоваго общества. Натурализовавшіеся остались «метеками». А, между тѣмъ завѣса, отдѣлявшая Россію от эмиграціи, разодралась. То, что давно было видно всему свѣту, стало явно и для эмигрантовъ: несмотря на гибель миллионовъ людей и страшную тиранию, в Россіи населеніе увеличивается и крѣпнет, города растут, и идетъ великая хозяйственная стройка. 15 лѣтъ эмигрантамъ твердили: Россія вымирает, ея хозяйство разрушается — потому нельзя возвращаться на родину, и надо вести борьбу с ея порабитителями. Но, если это не так, если Россія растет и крѣпнет — почему намъ оставаться здѣсь? Вот мысли, которыя волнуютъ молодежь. И для увеличенія соблазна из Россіи идутъ

вѣсти об эволюціи страны и власти: иностранная политика націонализируется, армія дисциплинируется, земельныя владѣнія укрѣпляются и в части становятся индивидуальными, школа реорганизуется и молодежь ставит вопросы о любви, семьѣ и родинѣ. Отсюда вывод: подъ краснымъ флагомъ СССР становится національной Россіей — надо возвращаться на родину. — Правда ли, что эволюционируетъ власть? Правда ли, что эволюционируетъ страна?

Если бы власть состояла изъ людей, какъ ихъ рисуютъ эмигранты, — безпринципныхъ, злыхъ и корыстныхъ, тогда эволюція власти была бы неизбежна, и борьба с ней легка: такіе люди внутренне слабы и нестойки. К несчастью, это не так. Большевики — члены интеллигентскаго Ордена нанъ плогъ от плоти его и кость от кости его. Сущность Ордена — вѣра в цѣлостное міросозерцаніе и негибкая преданность ему. Члены Ордена «стоятъ перед истиной» и не сдаютъ ея. Большевики — фанатики и изуверы, но такъ же, какъ другие члены Ордена, они вѣрят в свою истину и умѣютъ за нее стоять. Нѣмецкая интеллигенція сдалась своему врагу — Гитлеру на другой день послѣ его побѣды. Русская интеллигенція не сдалась даже тогда, когда побѣдила одна изъ ея фракцій (большевики). Бѣлое движеніе — дѣло того же Ордена. И теперь большевицкая оппозиція, во главѣ с Троцкимъ, погибаетъ в ссылкѣ и изгнаніи. Большевицкая власть — фанатическая секта, неспособная на эволюцію.

Какъ же объяснить современные повороты ея политики? Ленин — ученикъ не только Маркса, но и Бакунина. Бакунин многое взял у Игнатія Лойолы и его Ордена. Для Лойолы цѣль оправдываетъ средства, для Бакунина «революція оправдываетъ все». Именно вѣра в абсолютность истины-цѣли дѣлаетъ Ленина и его учениковъ крайними оппортунистами в революціонной стратегіи и тактикѣ. Нэл — «стратегическій маневръ». И теперешняя иностранная политика Сталина такой же маневръ. Россія взята в клещи Японіей и Германіей. Надо спасти «плацдармъ мировой революціи». Для этого хороши всѣ средства: союзы с буржуазными государствами, вступленіе в Лигу Націй, единый фронтъ и защита родины. Когда клещи разожмутся, совѣтская власть снова пойдетъ к своей конечной цѣли — мировой революціи. Она это сдѣлаетъ не только потому, что это ея символъ вѣры, но и из инстинкта самосохраненія: «родина революціи» можетъ быть длительно охранена только в томъ случаѣ, если весь міръ будетъ революціонизированъ. Другое объясненіе — для поворотовъ внутренней политики. Большевики — фанатики и изуверы, но не идіоты и не сумасшедшіе. В эпоху гражданской войны они погубили миллионы людей, разрушили армію, разорили деревню, дезорганизовали школу, проповѣдовали «любовь безъ черемухи» и развалъ семьи. Но это не было подлиннымъ выраженіемъ ихъ лица, точной проекціей ихъ идей. Это тоже были

«стратегический маневр», «лѣвый загиб», революционная демагогия. Теперь гражданская война кончена, режим стабилизирован. Нужен новый стратегический маневр в другом направлении, нужно выпрямление «загиба», нужно рациональное приспособление идеи к жизни. То, что сейчас происходит, не эволюция режима и власти, а их н о р м а л и з а ц и я . Власть становится болѣе разумной, мѣрной и потому болѣе устойчивой и сильной. Но сущность режима остается той же: террористической диктатурой, интегральным коммунизмом, атеистически-материалистической идеократией, устремленной к мировой революции.

Эволюционирует ли страна? Но, прежде всего, что такое советская «страна»? Новый народ — «люди большевизма», как они сами себя называют. Надо помнить, что половина советская нация родилась послѣ революции, 100 миллионов — послѣ 1905 года, три четверти всего советского населения имѣло в началѣ революции не больше 15-16 лѣт. Все это молодые «советские ребята», здоровые, крѣпкіе, зубастые и скуластые — молодые ленинцы и сталинцы. Они выдѣлены по образу и подобию людей власти и, вмѣстѣ с их злостью и жестокостью, впитали в себя новые черты: энергии, рѣшительности, упорства и выдержки. Эволюционируют ли эти советские ребята? В нашем понимании, нѣт. Они ненавидят старый режим, с презрѣніем, как на дурную копию, смотрят на западных фашистов и смертельно зѣвают от скуки, когда попадают в старую буржуазную Европу. Но они не стоят на мѣстѣ — они быстро развиваются и европеизируются. Основное явление советской жизни — громадный рост сознания народа, почти космический переворот в глубинах народной жизни. Мировая война, гражданская усобица, нѣп, пятилѣтка перевернули народное сознание и необычайно подняли его. Всеобщее обучение, радио, синема влили в него новые понятия. В настоящее время в средних учебных заведениях СССР учатся пять с половиной миллионов людей (в 6 раз больше, чѣм до революции), в высших учебных заведениях — 1.200 тысяч, в фабзавучах и на профкурсах от 2 до 4 миллионов. И замѣчательно: уровень знаний во всѣх школах поднялся, дисциплина укрѣпилась — советские ребята с яростью «грызут гранит науки». Что все это означает? — Грандиозный процесс европеизации и обинтеллигентивания русского народа. Культура Ордена становится общенародной культурой. Правда, эта культура распространяется в народѣ в ея большевизмом облици, но, вмѣстѣ с специфически большевизмскими чертами, она несет в себѣ общія черты духовного орденового сознания: стояние перед истинной, жадно общаго дѣла, вѣру в разум и науку — просвѣтительство. Этим объясняется, почему жажда просвѣщения с такой силой охватила весь народ, этим объясняется, почему советские ребята так напоминают старых интеллигентов 60-х годов — Базаровых и Рахметовых — или

еще точнѣе: дореволюционных гимназистов 6-го класса, вышедших из низов. И в этом процессѣ нѣт ничего удивительнаго: создание народной культуры всегда происходит таким путем. Во французской революции побѣдила буржуазия и передала народу свою культуру — вот почему пореволюционный француз 19-го вѣка — «мѣщанин». В русской революции побѣдил интеллигентский Орден — вот почему пореволюционный советский юноша так походит на полунинтеллигента.

Какия отсюда послѣдствія? — Громадныя. Советские гимназисты еще изучают современных Бокля и Дрепера — Маркса и Ленина, и звание их примитивно. Но они упорно учатся, переходят из класса в класс и быстро развиваются. И ставят вопросы о любви, семьѣ и родинѣ. Не пройдет много времени, когда они поставят еще болѣе важные вопросы — о личности, свободѣ и Богѣ. И тогда конфликт с большевизмской идеократией станет неизбежным. Обинтеллигентивая народ, большевизмская власть неотвратимо готовит себѣ гибель. Чтобы продумать поставленные вопросы и дать на них отвѣты, советская молодежь, как старая интеллигенция, будет составлять тайные кружки, уходить в подполье и наполнять тюрьмы. И будет посылать лучших из себя — Герценов, Огаревых, Бакуниных, Плехановых — в добровольную эмиграцию. Для чего? — Чтобы продумать недодуманное, оформить осознанное и на чужой территории поставить центральную радиостанцию для посылки волн свободной мысли на родину.

Зачѣм же лучшим из нас, находящимся на этой территории, добровольно возвращаться в Россію? Почему не взять на себя ту миссію, с которой придут к нам новые «посланцы»? Скажут, что духовное творчество в изгнании невозможно? Это неправда: в изгнании творили еврейские пророки, польские патриоты и русские революционеры. Мы не знаем Россію? Это правда, но мы можем ее знать: перед нами вся советская литература, вся мировая пресса и тысячи свидетельских показаний. И, наконец, к нам всегда будут приходять люди оттуда. Только для того, чтобы выполнить эту миссію, наши взоры должны быть неотвратимо устремлены на Россію — настоящую, живую — и мы должны чувствовать себя не как в глубоком тылу, а на самых передовых позиціях русского освободительнаго движенія — под русским Верденом. И помнить, что на передовых позиціях нельзя устроить мирное и благоденственное житіе — что наша судьба героическая. Вот почему, когда меня спрашивают молодые эмигранты, ѣхать ли им в Россію, я смотрю им в глаза и, если вижу в глазах духовную тревогу, твердо и увѣренно отвѣчаю: такія, как вы в Россію прячутся в подполье, наполняют тюрьмы и идут в добровольное изгнание. Оставайтесь здѣсь.

И. Бунаков.

Одновременно с расширением своей программы, «Новый Град» дѣлает опыт и нѣкоторой жизненной ея актуализации. Развиваемая в журналѣ идея нуждается в повѣркѣ, в дружеской и компетентной критикѣ. Болѣе того, чтобы быть плодотворными, онѣ должны рождаться не из потребности в философской систематикѣ, а из опыта творчества. Одним из важнѣйших видов этого творчества, одним из отвѣтственнѣйших участков «духовнаго фронта» является искусство — в искусствѣ — поэзія. Парижскій отдѣл редакціи «Новаго Града» сдѣлал опыт образования кружка, гдѣ сотрудники «Новаго Града» встречались бы с молодыми поэтами и прозаиками эмиграціи. Впрочем, «Новому Граду» принадлежит лишь почин этих встреч, которые носят названіе «Круга». Писатели-художники в нем далеко преобладают над «общественниками» из нашего журнала. Своеобразие этих собраний не только в их составѣ, но и в их замкнутости. И то и другое создает особо благоприятныя условія для свободы и содержательности бесѣд. Очень краткіе отчеты о собраниях «Круга» мы будем печатать в нашем журналѣ, отмѣчая лишь главнѣйшія точки зрѣнія, а не самыя рѣчи и не упоминая даже имен, в чем заранѣе просим прощенья у авторов.

Бесѣда первая, 21 октября 1935 г.

Присутствовали: Г. Адамович, А. Алферов, И. Бунаков, В. Баршевскій, В. Вейдле, Г. Гершенкройн, Б. Дикой, Г. Иванов, Л. Кельберн, Д. Киут, мон. Марія (Скобцова), В. Мамченко, К. Мочульскій, Г. Раевскій, С. Савельев, Л. Савинков, Ю. Софьев, Ю. Терапиано, Г. Федотов, Н. Фельзен, Л. Червинская, С. Шаршун, В. Яновскій.

Вступленіем к бесѣдѣ послужили мысли Г. П. Федотова о судьбах искусства 19-го вѣка, изложенныя им в статьѣ: «Борьба за искусство», напечатанной в настоящей книгѣ «Новаго Града».

Утвержденія Г. П. Федотова казались неприемлемыми для нѣкоторых участников бесѣды в трех направленіях: искусство несоизмѣримо с религіей, как средством своего спасенія; мыслимо и исторически доказано существованіе безрелигіознаго искусства; явные признаки омертвѣнія искусства в наши дни не являются еще слѣдствіем его окончательной гибели: при вулканическом темпѣ измѣненій внѣшняго міра и внутренняго преображенія человѣка, современный упадок может оказаться коротким интервалом перед новым цвѣтеніем.

Доводы возражавших сводились к слѣдующему:

Порочна самая постановка вопроса. — Религія для вѣрующаго настолько всеобъемлюща и настолько мѣняет всѣ оцѣнки жизни и самую жизнь, что предлагать ее, как средство оживленія искусства,

значит принижать понятіе религіи. Если человечеству суждено новое воскресеніе под вліяніем религіознаго сознанія, то искусство может в нем раствориться, как частности, даже, быть может, совершенно исчезнуть без ущерба для вѣрующих. С религіозной точки зрѣнія, нестерпимо сводить религію к трамплину для подлиннаго художественнаго творчества. Человѣкъ, преображенный вѣрой, может быть хорошим поэтом, но стучаться в дверь храма, имѣя корыстную цѣль стать поэтом — невозможно...

Исторія не знает абсолютно религіознаго искусства, как невѣдомая ей и религіозное сознаніе, воплощенное в чистом видѣ в высших проявленіях искусства. Искусство не может вѣнчать зло: при попытках служить чистому злу искусство отмирает. Таковы таинственные законы творчества живой души. Приписывать же этическое начало в искусствѣ только христианству — несправедливо. Эти начала ясны уже у Гомера и даже у его предшественников. Искусство Пушкина безрелигіозно и вмѣстѣ с тѣм исполнено исканія добра. Безрелигіозно в значительной своей части и все искусство 19-го вѣка. И тѣм не менѣе никогда искусству не была так близка тема справедливости, как именно в 19-ом вѣкѣ...

Послѣднее цѣлованіе воздают здѣсь искусству и могильной перстью посыпают его. Но отдать смерти разрѣшается лишь труп с явными признаками тлѣнія. Доказано ли, что силы жизни окончательно излуплены в искусствѣ силами распада? Часть нашего поколѣнія приобрѣла дурную привычку фамиллярничать со смертью. Ее сдѣлали модной. Она бродит по всѣм перекресткам и заглядывает во всѣ окна. Не рано ли отдавать ей и все искусство? Мір на наших глазах сказочно мѣняется. Во вступительном словѣ отмѣчен неслыханный темп смѣны теченій в искусствѣ. При таком темпѣ есть опасность принять затаргію за смерть. Искусство болѣет ущербом человечности, утратой ощущенія цѣлостности міра, угасаніем стиля. Но потребность в искусствѣ ощутили теперь десятки миллионов людей, которые раньше не подозревали даже о его существованіи. Соціальныя катастрофы оторвали алчущих от чистаго искусства и вынудили их питаться утилитарными суррогатами, безконечно далекими от подлиннаго искусства. Но тѣм самым новые люди отошли от сопрікосновенія с сумеречным искусством наших дней. У кого же безспорна доказательства, что этим новым людям навсегда заказана потребность в искусствѣ живых? Что в их инстинктивной тягѣ к искусству классическому не таится обѣтованіе новаго мощнаго расцвѣта? Что именно они не подберут цѣль искусства с того его звѣна, котораго еще не коснулась развѣдающая ружьина?..

Автор вступительнаго слова и лица, его поддерживавшіе, предостерегаии от русскаго максимализма, граничащаго с нигилизмом и сказавшагося в утвержденіи, что религія несоизмѣрима с искусством

и в нем не заинтересована. Безрелигиозность 19-го вѣка лишь кажущаяся: весь он питается теплом предыдущих вѣков христіанства. Пушкин религиозно, может-быть, нейтрален, но все его мироощущеніе сложилось в средѣ, насквозь пронитасной христіанской этикой. Религиозность русской интеллигенціи 19-го вѣка была своеобразным безпоповством, но ей присущи всѣ атрибуты вѣры, страстной и экзальтированной. Русскій гуманизм 19-го вѣка есть несомиѣнная разновидность христіанской ереси...

Бесѣда вторая, 4 ноября 1935 г.

Присутствовали: Г. Адамович, А. Алферов, И. Бунаков, В. Варшавскій, В. Вейде, Г. Гершенкройн, Г. Иванов, Д. Кнут, А. Ладинскій, мон. Марія (Скобцова), В. Мамченко, Г. Раевскій, Ю. Терапиано, Г. Федотов, Н. Фельзен, Л. Червинская, В. Яновскій.

Мон. Марія сдѣлала введене на тему: Основные тенденціи русской религиозной мысли.

Каждому народу дается свой особый дар, свое видѣніе Бога. И на протяжении вѣков отдѣльные представители его мысли в извѣстной внутренней послѣдовательности раскрывают то, что заложено в народном мироощущеніи.

Если мы пожелаем найти эту основную тенденцію русской религиозной мысли, то нам придется обратиться к самым истокам ее, к тому, что традиціонно воспринималось, как нѣкая не очень удачная религиозная публицистика. Я говорю об ученіи о Москвѣ — третьем Римѣ. Если подойти к этому ученію в свѣтѣ всѣх высказываній позднѣйшаго времени, то оно представляется нѣкой основной заданностью русской религиозной мысли. Тут впервые был поставлен вопрос о религиозном оправданіи міра, о религиозном смыслѣ мірскаго дѣланія. И потом через пустыню 17-го и 18-го в.в. эта же тема заново зазвучала в первом самостоятельном вѣкѣ русской мысли — в 19-ом вѣкѣ. Ученіе Хомякова о соборности особенно интересно именно в этом смыслѣ. Его основная тенденція повѣсть и увидѣть Божій замысел о мірѣ, почувствовать в мірѣ Божіе присутствіе. Он проэктирует священность церковнаго соборнаго организма на всѣ сферы человѣческой жизни. Такова же основная тенденція Достоевскаго, особенно ярко выраженная в его вѣрѣ в богопосланность, т.е. религиозную оправданность и освященность народной души. Может-быть, наиболее ярко выраженным представителем такого особо русского національнаго софійнаго подхода к міру является Владимир Соловьев. Вся его философія сконцентрирована в двух словах: всеединство и Богочеловѣчество. Для него мировой процесс, так же как и историческій, является раскрытіем Божественнаго плана о мірѣ и приобщеніем міра к Божественному началу. Любопытно, что с этой основной точки зрѣнія приобретают особый смысл даже

эстетическія высказыванія русских символистов. Именно в их специфической причастности русской основной идеѣ вся их разница с западными символистами. Для них центральна идея Первосимвола, к которой приближаются символы искусства. Другими словами, Божественная первооснова міра опредѣляет собою всѣ тварныя быванія. И тут их теорія перестает быть только теоріей художественнаго творчества, а становится в цѣль со всѣми раскрытіями русскаго религиознаго міросозерцанія.

Можно, конечно, возразить, что, помимо таких софійски настроенных мыслителей, русская философія знала и противоположныя настроенія. Достаточно вспомнить отношеніе к христіанству Розанова, который не мог примирить радостей міра со скорбным ликом Христовым. Любопытно, что то, что вызывало в Розановѣ страх перед христіанством, является одновременно основным в настроеніях цѣлаго ряда церковных энтолей, даже іерархов. Розановским пониманіем христіанства, напримѣр, вызвано рѣзкое осужденіе ученія о Софійн отца С. Булгакова со стороны митрополита Сергія. Тут крайности сходятся. Но каковы бы они ни были, основная традиція русской религиозной мысли ведет нас к религиозному оправданію міра.

В преніях подвергалась критикѣ прежде всего историческая схема матери Маріи. Указывалось, что она опустила кенотическій момент, прежде всего характеризующій русскую религиозную мысль. Ея линія русских писателей скорѣе византийская, хотя она отталкивается от Византіи. Русская мысль скорѣе музыкальная, чѣм конструктивная, «сводящая концы с концами». Непопытно исключеніе из основнаго русла ее Толстого и Розанова. Защита Розанова окрашена собой всю бесѣду. Указывалось на присутствіе в Розановѣ христіанских начал: и смиренной любви и пасхальной радости. Скорбный лик Христа, который он видѣл, не устраним из христіанства. За Розановым стоит Евангеліе («его страшный союзник»), оно перефразирует всѣ высокія теоріи.

Очень сильно звучала «евангелійская» нота. «Человѣкъ стоит сейчас перед Евангеліем, а не перед историческим христіанством». В свѣтѣ Евангелія культура испепеляется. «Культура и развивается, может-быть, потому, что человѣкъ не принялъ Царствія Божія». Раздался голос, противопоставившій умному богословію греков и русских мыслителей подвиг молчанія в пустынѣ — «Добротолубіе», как основу религиознаго дѣланія. Но обозначилось и третье религиозное утвержденіе, не совпадающее с построеніем докладчицы. Нѣсколько голосов поддерживали Н. Э. Федорова, противопоставляя социальную активность цоваго 20-го вѣка настроеніям 19-го, которыя господствовали в соораніи. Прозвучал даже голос, подчеркивающій техническій и «человѣкобожескій» мотив в ученіи Федорова. Другіе защитники Федорова указывали, что техническое у него подчинено

любви. «Техника деталь и пошлость». Сама смерть, по Федорову, происходит от недостатка любви. Впрочем, идея воскрешения мертвых сочувствия в собрании не встретила.

Докладчица, защищаясь в репликах, очень поддерживала укорененность религиозной культуры в христианской радости. Все ничто, потому что есть радость — Христос. Культура начинается с воздыхания рая. В культуру же спорно, но чистое золото уцелѣет. В Царствіи Божіем останется творческая устремленность.

Бесѣда третья, 18 ноября 1935 г.

Присутствовали: Г. Адамович, Н. Бердиев, И. Бунаков, В. Варшавский, В. Вейдле, Г. Гершенкройн, Б. Дикой, Г. Иванов, Л. Кельберн, Д. Кнут, А. Ладвинский, В. Мамченко, Ю. Мандельштам, мон. Марія (Скобцова), К. Мочульский, Г. Раевский, С. Савельев, Ю. Софиев, Ю. Терапиано, Г. Федотов, Н. Фельзен, В. Яловский.

Введением к третьей бесѣдѣ служила напечатанная в настоящем номерѣ статья Ф. А. Степуна: «Пореволюционное сознание и задачи эмигрантской литературы».

Несогласіе присутствующих с предпосылками статьи сводилось к слѣдующему:

Нѣтъ ли основной замысел, — соотношение между міросозерцанием и художественным творчеством лишено характера соподчинения. Вѣчная проблема автономности искусства вряд ли когда-нибудь будет разрѣшена. Несомнѣнно лишь одно: художественное творчество связано с душевной цѣлостностью человѣка, но оно не укладывается в грани міровоззрѣнія. А. Чехов имѣл позитивное міровоззрѣніе с весьма ограниченными рамками — насколько выше, однако, его художественное творчество, и как мало по существу связано оно с его высказываниями о назначении человѣка. Художественное творчество Л. Толстого неизмѣримо сложнее и глубже поставленных им себѣ задач. Поэтическое произведение не может не носить отпечатка культуры своей эпохи; связано оно и с проблемами, занимающими автора, но о субординации творчества нельзя говорить, а тѣм болѣе ставить литературу какія бы то ни было «задачи». Скрытые цѣли искусства открывают впоследствии его историк; самому же творцу в момент созидания онѣ невѣдомы и ни в коем случаѣ не могут ему быть поставлены извне. Указание путей для искусства гибельно, подлинно высокое искусство вылетает к вѣшному. Если послѣдовать совѣту Ф. А. Степуна, можно будет создать нѣсколько нарочито умных и благонамѣренных повѣстей или безкрылых стихотворений, но вряд ли он сам этого желал бы. Наличие цѣлостнаго міровоззрѣнія не означает еще внутренней цѣлостности и обогащения человеческой души.

Отрицательныя характеристики современной литературы у Ф. А.

Степуна вѣрны и блестящи, но его выводы уступают в значительно-сти и глубинѣ тонкому анализу первой части статьи. Молодая литература в эмиграции неблагополучна, но вряд ли спасет ее память о вѣчном ликѣ Россіи, да и откуда взяться этой памяти у людей, с раннего дѣтства находящихся на чужбинѣ? По книгам и рассказам старших?.. Этого достаточно, быть может, для вѣшняго познания невиданной и невѣдомой родины, но такое познание бессильно создать внутренней стимула для творчества.

Что такое эмиграция?.. Даже негативным признаком отрицания большевизма ее нельзя всю объединить. У многих уже очень давно создается ощущение, что эмиграция нѣтъ. Тѣ, кто постоянно возвращается в ее массу, приходят иногда к выводу, что перед ними гигантская больница для замученных, невѣроятно усталых, покрытых душевными язвами людей. Один путь самоутверждения остался для этих людей — путь религиознаго дерзновения. Только на этом пути эмиграция может еще много дать родинѣ и міру.

Сущностью всякой эмиграции, оправдывавшей самоѣ ее наличие, всегда была политическая или социальная устремленность. Многие из молодых писателей ради этого подошли к воротам строящагося «новаго града». Назначением всѣх эмиграцій была переоценка прошлаго и идейное строительство. Идеями французской эмиграции, и именно тѣми, которые не были идеями оглоленной реакціи или реституции, жила Франція в течение полувѣка послѣ революціи. Не дома, а на чужбинѣ ковалось будущее польскаго народа.

Назначение русской эмиграции еще существеннѣе. Ей достаточно оставаться собой, быть вѣрной только себѣ, чтобы создать великую литературу. Не надо бояться этого слова. Тѣ исключительныя условия, в которыя попала эмиграция русская, и та исключительная эпоха, в которую ей суждено стогать, ставят перед ней задачи особаго масштаба. Не слѣдует преуказывать выбора тем. Молодая эмигрантская литература вовсе не должна писать только о Россіи и русских, чтобы оставаться русской эмиграціей, в высоком и специфическом значении этого слова. Художественное творчество перерастает географическія границы. Россіи нужны сейчас люди внѣ доктрины, достаточно смѣлые, чтобы выявить самих себя. Не слѣдует также огульно отрицать міровоззрѣнческой заказ. Міровоззрѣние есть биологическая необходимость; есть писатели, которым этот грамматин нужен для творчества, но как всеспасающій, для всѣх годный рецепт — лечение Ф. Степуна не пригодно.

Выход к человѣку, от «я» к «ты», возможен и внѣ гражданственности и социального служения. Эмигрантская литература должна дать то, чѣм не может заниматься литература в Россіи — проблему человечности. Вѣдь, величайшіе русскіе художники стояли внѣ героической борьбы, социальной и политической, которую вела рус-

ская интеллигенция. Они спускались в низины обывательского существования, занимались Акакиями Акакиевичами и «бѣдными людьми», и, там коснувшись вѣчности, возвращались иногда с профетическим зовом. Дѣйствительно ли наша эпоха требует прежде всего участія в социальном строительствѣ от художника?..

Эмигрантскому писателю не дано то, что имѣет писатель на родинѣ. Не слѣдует гоняться за недоступным. Для выросших здѣсь никакой суррогат не замѣнит музыки французскаго языка, преданности ея культурѣ и родного им звучанья французской поэзіи. Недавно премирован сборник французских сонетов молодого поэта по фамилиі Ястребцев. Его творчество не получит иного направленія послѣ статьи Ф. Степуна. Каждому свое. Нам суждены виѣшняя нищета и внутреннее одиночество; быть может, даже творчество в пустотѣ. Не в одиночествѣ яи и муках созрѣвали величайшія произведенія искусства?..

Уход в себя, молчаніе — были для великих художников лишь средством, но не цѣлью. Отъединенность, пустота — ближе к распаду и смерти, чѣм к живому творчеству. Расправить крылья и летать можно лишь, опираясь на воздушныя теченія. Пустота влечет за собой стремительное паденіе. В основном Ф. А. Степун безусловно прав. Литература и поэзія — запись души. Душа-же не может питаться виѣ религіознаго или социальнаго общенія. Мы ушли из Россіи для служенія себя познающему и преображенному русскому народу. Происходит грандіозный процесс обинтеллигентиванія всей Россіи. Мы по-истинѣ посланы, а не бѣжали. История поставила нас в условія исключительныя, требующія героических усилій. Мы должны быть достойны этой задачи. Как еврейскіе пророки в изгнаніи, как поэты польской эмиграціи, мы имѣем миссію, и миссія эта профетическая и героическая. Осознать себя — значит быть покорными историческому предназначенію. Мы выдвинуты на форпосты творить то, что пока еще невозможно дѣлать в Россіи. Здѣсь сказаны горькія слова об эмиграціи. Что может измѣнить в моем сознаніи долга, в моей волѣ к жизни наличие большого количества прокаженных? И существенны ли здѣсь количественныя критеріи, допустимы ли безнадежныя обобщенія? Жажда преображенія, ощущеніе внутренней связи с тѣми, кто на родинѣ рвет пути и тянется к освобожденію, воля к дѣланію, к созиданію — создадут мощное теченіе, хотя бы начали его только единицы. Развѣ наша эпоха не свидѣтельствует о граничащем с чудом сказочно быстром проростаніи воли в массы, претвореніи мечты в дѣйствительность?..

Книги

Georges GURVITCH, L'Expérience juridique et la philosophie pluraliste de droit.
Paris. 1935.

Самое заглавіе книги проф. Гурвица показывает, что она представляет собою спасительную реакцію против до сих пор еще не вполне преодоленнаго культа «чистой», игнорирующей жизнь, науки; а содержаніе основной части ея свидѣтельствует о столь же здоровом стремленіи положить конец связанной с культом «чистой» науки тенденціи к обособленію научных дисциплин. То, что автор не отдѣляет проблем теоріи права от проблем философіи и конкретнаго социологіи — социологіи, изслѣдующей не «общество вообще», а реальныя, данныя в опытѣ современной жизни общественныя отношенія, послужит оправданіем мнѣ в том, что, не будучи специалистом в области, в которой работает автор, я все же позволяю себѣ говорить о его книгѣ, поскольку в заключительной части ея он выдвигает и подвергает глубоко продуманному анализу проблему, являющуюся в наше время центральной для каждаго историка: проблему демократіи, ея кризиса и преодоленія послѣдняго. Заранѣе оговариваюсь, что в дальнѣйшем

я коснусь вопроса, котораго сам автор не подымает и не мог поднимать, ибо это нарушило бы связь в ходѣ его мыслей, но к которому его изложеніе неминуемо приводит всякаго, кто подойдет к его книгѣ так, как подошел к ней я: не как философ и теоретик права, но как историк. Современная демократія покоится на грех основных началах, восходящих — это прекрасно показано у автора — к различным по времени их возникновенію и по существу источникам: это начало народнаго суверенитета, начало равенства и начало личной свободы. Идея народнаго суверенитета укоренена в понятіи Народна, Общества, Государства, как цѣлаго, коллективной личности, организма. Она связана с центральной католической идеей — Соборности, Всединства. Идея равенства, коренящаяся в средневѣковом христіанском мировоззреніи в такой же степени, что и идея іерархіи, получает господство и становится правообразующим фактором в эпоху абсолютной, всеуранивающей монархіи. Идея свободы, равным образом религіозна по своему происхожденію, связана с еретическими и реформаціонными движеніями начала новаго

времени. Сочетание этих идей в идею демократии приходится на время секуляризации государства и общества, господства рационалистических навыков и методов мышления. Подвергнутые соответствующему преломлению в общественном сознании, эти принципы, сочетаясь воедино и тем давая основу для демократии, в то же время вступают в противоречия друг с другом. Мысль вечно колеблется между двумя полюсами: всепоглощающего этатизма в его различных, по существу одинаковых аспектах (национал социализм, коммунизм) и атомистического индивидуализма. Идея Общества, в сущности, исчезает из поля зрения, а в силу этого извращается и идея социализма (в буквальном смысле этого слова). В чем выход? Автор справедливо видит его в углублении и расширении понятия Демократии, в восстановлении идеи Соборности — однако не тем путем, каким следуют Отм. Шпан, приходящий к отрицанию идеи равенства, а значит и демократии. Современное правосознание помещает понятие демократии в одном только плане — государства. Этому «одноплоскостному» пониманию автор противопоставляет свою «многoplоскостную» концепцию. Жизнь сама говорит о том, что идея демократии шире и допускает много больше возможностей ее применения. Так, например, Лига Наций является собою пример демократизации (пусть и далеко не вполне осуществленной) междугосударственных от-

ношений. Синдикализм является опытом реализации подлинной социальной, т.е. общественной демократии. В основу коренной общественной и политической реформы должна быть положена идея не абстрактного индивидуума и не во всех отношениях суверенного, служащего единственным источником права Государства, но идея конкретной, реальной личности, органически связанной каждая с целым рядом различных и друг по отношению к другу независимых коллективов, являющихся, каждый, демократически устроенным и обладающим собственным правом организмом, юридической личностью, обладающей собственным правом. Если перенести эти концепции в плоскость имущественных отношений, само собою обосновывается право общественной — а не единично-личной, или государственной — собственности. Субъект так понимаемого права общественной собственности — это уже не просто арифметическая сумма изолированных человеческих единиц, — скажем, обладателей акций какого-нибудь промышленного предприятия, — но реальное общество всех так или иначе участвующих в жизни этого предприятия людей. Критика общепринятых представлений о демократии, сделанная автором, содержит в себе не мало примеров, свидетельствующих, насколько правосознание, как это у него прекрасно пока-

зано, зависит от правоощущения, обусловлено интуицией реальных социальных отношений. Современный «средний человек» должен сделать большое умственное усилие, чтобы понять то, что некогда было тем-то само собою разумеющимся, чтобы усвоить себе идею социального права, которой весь «классический» социализм является сплошным отрицанием. Характерно, например, что до войны в Европе общераспространенным было убеждение, что в Англии «нет социализма», между тем как на самом деле только в Англии удержались элементы истинного социализма — в различных «церквях», пребывающих в лоно общей англиканской Церкви, в «коллегиях», где учащиеся и учителя являются одинаково «коллегами», в традиционном, в т.е. в традиционной общественной и политической мысли. Социальная демократия, в том смысле как ее понимает автор, представляется неосуществимой в мире, состоящем из системы политических тел, в каждом из которых понятия народа и войска (foribus) совпадают, как это было в Римской Республике, продолжавшей приблизительно те же стадии развития, через которые проходит на наших глазах Европа: от демократии к основанной на началах народного суверенитета и равенства диктатуре Цезарей и к «управляемому» хозяйству (литургическая система) с его режимом принудительно создаваемых корпораций. Исходной точкой реформы могло бы быть

«палата простых людей» была уже тогда представительством общин, а не человеческих единиц, сходящихся для голосования. Дух соборности, общественного почина, непосредственное переживание Общества как реальной величины, никогда не угасали в Англии, хотя Англия же была вместе с тем и родиной правового индивидуализма. На европейском континенте демократия создавалась и окрепла в эпоху национальных войн, всеобщей воинской повинности, которой не знали англо-саксонские страны. Капитализм и капиталистическое предприятие, были и остаются величинами, которых структура определяет собою европейскую интуицию общества и человеческих отношений, и тем самым господствующая направления европейской общественной и политической мысли. Социальная демократия, в том смысле как ее понимает автор, представляется неосуществимой в мире, состоящем из системы политических тел, в каждом из которых понятия народа и войска (foribus) совпадают, как это было в Римской Республике, продолжавшей приблизительно те же стадии развития, через которые проходит на наших глазах Европа: от демократии к основанной на началах народного суверенитета и равенства диктатуре Цезарей и к «управляемому» хозяйству (литургическая система) с его режимом принудительно создаваемых корпораций. Исходной точкой реформы могло бы быть

только создание общества народов, которого нынешнее Общество — на самом деле не «наций», а государств — является лицом ярким искажением.

П. Биццлли.

BORIS SOUVARINE. Staline.
Paris. Plon. 1935. 574 p.

О Сталинѣ, самом молчаливом, самом загадочном из тиранов послѣвоенной Европы, книга в 574 страниц! Читатель с жадностью перелистывает ее, ища сенсационных разоблачений. Разоблачений он не находит: личность Сталина по-прежнему едва выделяется из окутывающего его мрака. Но зато она дана на отчетливо, даже мастерски очерченном фонѣ русской революции, для понимания которой автор обладает сочетанием многих данных.

Выходец из России и бывший член французской коммунистической партіи, Б. Суварин использовал для своей книги огромную литературу, как русскую, так и иностранную; при чем русскую трех направлений: официально-сталинскую, оппозиционно-троцкистскую и эмигрантскую. Уже за одну компиляцию всего этого, трудно доступнаго матеріала русский читатель был бы благодарен автору. Но перед нами не компиляция: перед нами написанная кровью, изнутри пережитая история разложения и гибели партіи Ленина. Чтобы написать ее,

нужно было с восторгом приветствовать Октябрьскую революцию, видеть в Ленинѣ и Троцком своих вождей и пережить постепенное угасание революціоннаго пламени, перерождение революции в новое и худшее издание крепостного московскаго царства.

Точка зрѣнія автора, таким образом, противоположна русской пореволюціонной тенденціи идеализации Сталина, как національнаго завершителя революции. Для Суварина дорого именно октябрьское содержание революции, Сталиным ликвидированное. Однако, автор и не вульгарный троцкист. При всем уваженіи к Троцкому, он ясно видит все его политическія слабости. А самое главное, он ясно видит, в условіях старой Россіи, всю невозможность осуществления в ней социализма в смыслѣ освобожденія трудящихся. Быть может, идеализируя Ленина, он приписывает и ему эту свою пронизательность *post eventum*. В его глазах, Нэп должен был быть очень долгим періодом вращенія Россіи в социализм. Въ это оставался путь террора, который логически, вмѣсто социализма, приводил Россію к самодержавію. Этот призрак старой Россіи постоянно возвращается под пером автора. Цитаты из писем де Кюстина, рисующих Россію Николая I, естественно и легко характеризуют быт Россіи революціонной.

То, что дает нам книга Суварина, это, конечно, не история русской революции, но история компартіи в революции. Народ

лишь смутно ощущается в перспективѣ, и насчет его страдальчески-пассивной роли у автора нѣтъ никаких иллюзій. Что становится вполне и до конца понятным из книги Суварина, это причины возвышенія и побѣды Сталина, в цѣпкой, подпольной борьбѣ за власть. Создается впечатленіе, что личные качества Сталина играли при этом меньшую роль, чѣм слабость его врагов, наследников Ленина, и общая логика развитія диктатуры. Бюрократизация партіи неизбежно выносила на верх генеральнаго секретаря, как главу партійнаго аппарата. Противники Сталина представляются различныя, лѣвые или правыя, тенденціи революціи; Сталин не имѣет за собой никаких тенденцій, но лишь чистую волю к власти и голую форму партійной диктатуры.

Что дает книга к пониманію личности Сталина, столь роковой для будущаго Россіи? Если собрать разбѣянные личные черточки, то получается достаточно опредѣленный образ. Мрак, окутывающій прошлое Сталина, оканчивается отчасти искусственнаго происхожденія. Диктатор имѣет основанія придерживать поток товарищеских воспоминаній. Мрачный и отталкивающій его характер подтверждается всеми: Свердловым, который не мог ужиться с ним в Сибири, Лениным в его «завѣщаніи». Сталин никогда не имѣл друзей. В прошлом за ним ползли темные слухи — о предательствѣ. Даже обстоятельства его выхода (или исключенія) из

семинариі остаются неразъясненными. Тифлисская с.-д. организациія исключила его за интриганство. Мастером интриги Сталин оставался всегда. Прибавьте к этому его извѣстная слова о сладости мести: «Выбрать жертву, тщательно подготовить удар, утолить месть и потом пойти спать... Нѣтъ ничего болѣе сладкаго на свѣтѣ», — и перед нами настоящій портрет восточнаго деспота: Абдул-Гамид во весь рост.

Для будущей судьбы Сталина весьма важно практическое направление его революціонных интересов: на боевые акты, на экспроприации, а не на борьбу идей. К теоріи он никогда не имѣл вкуса, марксизму учился из вторых рук — у Ленина. Отсюда его молчаніе во время всех теоретических дискуссій — молчаніе за всю подпольную историю партіи. И в послѣдніе годы трудно уловить какую-либо идейную тенденцію в его извилистой «генеральной» линіи. Еще за год до своей пятилѣтки, он ожесточенно борется с проектом индустриализации, пока он выдвигался лѣвой оппозиціей. Расправившись с ней, он немедленно осуществляет ея «план» в гораздо болѣе радикальном изданіи.

И все-таки, может быть, одна линія сталинской политики отличается устойчивостью. Еще в октябрьѣ 1917 г. он один из всей гвардіи Ленина сомнѣвается в мировой революции. Величайшая ересь для ленинизма, «социализм в одной странѣ», составляет весь смысл сталинизма. По свидѣтель-

ству Троцкого, Сталин заявил однажды в Политбюро, что Коминтерн не сдѣлает революціи «даже через 90 лѣтъ». Вот основанія для новѣйшей «національной» фазы сталинской диктатуры.

Принимая все это во вниманіе, можно считать не абсолютно исключенным, что Сталин способен окончательно ликвидировать марксизм в Россіи, как он ликвидировал уже революціонный марксизм в

партіи и историческій материализм в философіи. От Сталина можно ожидать всего, — таково послѣднее впечатлѣніе, которое выносишь из книги Суварина: своей власти он готов пожертвовать всѣм, — да впрочем, может быть, ему не чѣм и жертвовать. Остается Россія, — но Россія сейчас еще болѣе загадочный молчаливик, чѣм сам Сталин.

Г. Ф.

Le Gérant : I. Rossel-Chiot.

Imp. S.N.I.E., 32, rue Ménilmontant, Paris (20^e).